

ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Политическая
Наука 3 *2017*

POLITICAL SCIENCE (RU)

**СОВЕТСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ТРАДИЦИИ ГЛАЗАМИ
СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ**

**Москва
2017**

Журнал «Политическая наука»

Коллектив авторов

**Политическая наука
№3 / 2017. Советские
политические традиции глазами
современных исследователей**

«Агентство научных изданий»

2017

УДК 32
ББК 66.0

Коллектив авторов

Политическая наука №3 / 2017. Советские политические традиции глазами современных исследователей / Коллектив авторов — «Агентство научных изданий», 2017 — (Журнал «Политическая наука»)

Анализируются советские традиции организации политической власти, их влияние на современное политическое развитие России. Выявляется специфика воздействия советского институционального наследия на политический процесс в странах постсоветского пространства.

УДК 32
ББК 66.0

Содержание

Представляем номер	5
Состояние дисциплины: Влияние прошлого на современное политическое развитие	8
Неудобный юбилей: Итоги переосмысления «мифа основания» СССР в официальном историческом нарративе РФ 1	8
Концепция зависимости от траектории предшествующего развития: Основные положения и критика	25
Ракурсы: Институциональные традиции и политические трансформации	35
Обживая руины советской системы: К вопросу о российском неопатримониализме 25	35
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Политическая наука № 3 / 2017

Советские политические традиции глазами современных исследователей

Представляем номер

В 2017 г. 100-летие Октябрьской революции в России. Это хороший повод обратиться к анализу прошлого и его влияния на настоящее, посмотреть глазами исследователей на традиции той системы, которая возникла после революции, и их влияние на современную общественно-политическую жизнь. Настоящий номер журнала включает в себя материалы, побуждающие к размышлениям и дискуссиям на эту тему. Задумывая этот выпуск, мы руководствовались интересом к проблеме институционального и символического наследия, воспроизводства и обновления традиций. Мы надеялись активизировать желание авторов и читателей ответить на вопрос, почему, согласно совершенно незатейливому, но в то же время удивительно мудрым высказываниям В.С. Черномырдина, у нас «какую партию не создашь, все КПСС получается» и «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Открывает номер традиционная рубрика «Состояние дисциплины». В ней представлено два материала, связанных с изучением влияния советского прошлого на современные политические процессы. Статья О.Ю. Малиновой посвящена тому, как такое воздействие осуществляется на символическом уровне и как это сказывается на принятии политических решений, связанных с подготовкой к коммеморации столетия революции 1917 г. в России. Опираясь на анализ публичных выступлений политиков и материалов СМИ, автор пытается объяснить, почему, отменив в 2004 г. праздник 7 ноября в его «ельцинской» версии, в 2017 г. властвующая элита возвращается к прежней смысловой формуле «примирения и согласия». В аналитическом обзоре Я.В. Евсеевой поднимаются некоторые концептуальные и методологические вопросы изучения влияния институционального наследия на последующее развитие. В этом материале рассматриваются содержание и подходы к трактовке концепции «тропы зависимости», показываются некоторые ее возможности и описывается опыт ее использования рядом исследователей российской общественно-политической жизни.

Данную тему в каком-то смысле продолжают материалы рубрики «Ракурс». В них анализируются разные аспекты сохранения, эволюции и преодоления институциональных традиций и политических трансформаций на постсоветском пространстве, в том числе в России. В статье Д.В. Ефременко рассматриваются некоторые проблемы социально-политических трансформаций в России в конце 1980-х – начале 2000-х годов. Автор выявляет исторические развилки, прохождение которых обусловило падение советской системы и становление неопатримониализма в постсоветской России. Режимные изменения на рубеже 1990–2000-х годов интерпретируются как преодоление критической фазы постсоветского развития и наступление исторически длительного этапа относительного баланса между иерархией и сетями, формальными и неформальными институтами. В статье Н.А. Борисова выявляются факторы учреждения института президентства в союзных республиках СССР и его становления в новых независимых государствах. Особое внимание уделяется позднесоветскому институциональному наследию. Автор определяет основные модели президентства и предлагает их классификацию.

В статье И.А. Помигуева рассматриваются вопросы институционального наследия на примере эволюции структуры руководящих органов Государственной думы РФ. Автор анали-

зирует исторические условия их формирования, изменения политических и статусных позиций, параметров влияния руководящих органов на парламентскую деятельность в СССР и России, отмечает общие черты и различия, присущие руководству Госдумы и ее предшественнику – Президиуму Верховного совета. В работе А.С. Кима и Е.Ю. Довгополова рассматривается влияние советской этнополитики на формирование этнополитического дискурса в современной России. Отмечая, что инструментами обоснования такой политики стали теоретико-методологические установки, сложившиеся в советском научном дискурсе, авторы показывают, каким образом сформировавшиеся на ее основе институты в свою очередь служат фундаментом для этнического национализма в современной России.

В материалах рубрики «Идеи и практика» осмысливается влияние советской символической политики на современные политические решения и практики. И.Г. Шаблинский рассуждает о признаках возвращения к некоторым элементам советского опыта в контексте выработки идеологических оснований современного российского политического режима. Он связывает их с формированием постсоветской консервативной парадигмы, предпосылки для которой сложились к середине 2000-х годов. По мнению автора, хотя к этому времени консерваторам стало ясно, «что защищать и от кого», в идейном плане им было трудно предложить что-то оригинальное, явно отделяющее их от идеологической платформы либералов и социалистов. Сущность политического «консерватизма», выступающего в качестве основы действующего режима, он усматривает в оправдании бюрократического произвола. Статья В.Н. Ефремовой посвящена анализу трансформации одного из первых официальных советских праздников – Первомая – в современной России. На широком эмпирическом материале автор показывает, как менялось смысловое наполнение праздника, который в 1990-х годах активно использовался для социального протеста, а в 2000-х оказался встроен в нарратив путинской «стабилизации». При этом, как и другие праздники, 1 мая оказалось предметом символического оспаривания со стороны разных акторов. А.В. Веретевская рассматривает опыт консолидации советского макрополитического сообщества, которое, как полагает автор, было близко к модели гражданской нации, ибо основывалось на ценностном консенсусе. В результате модернизационного скачка, необходимого молодому советскому государству, чтобы выжить во враждебной среде, были созданы условия для консолидации «советского народа», придавшего прочность его политическому «фасаду».

Рубрика «Контекст» включает статьи, посвященные влиянию советского наследия на современное политическое развитие в отдельных странах бывшего СССР. В работе А.А. Токарева рассматривается национальное строительство на Украине и в Белоруссии после распада Советского Союза, в том числе феномен воспроизводства или демонтажа институтов и политических практик СССР в постсоветских государствах. Автор выявляет различие между двумя странами на основе семи параметров: языковой статус, официальное декларирование институциональной преемственности, государственные символы, памятники и архитектура, преподавание истории XX в., политический режим и массовые настроения. В статье И.Е. Кочедыкова рассматривается способность постсоветского государства поддерживать функциональный государственный аппарат и, соответственно, реализовывать реформы на примере процесса создания и функционирования экстрактивных институтов и, прежде всего, налоговой системы. В работе показывается, как советское наследие проявляется в структуре и функционировании налоговой системы Молдавии.

В рубрике «Интервью» вниманию читателя предлагается запись беседы членов редколлегии нашего журнала О.Ю. Малиновой и С.В. Патрушева с главным научным сотрудником и почетным доктором Института социологии РАН А.А. Галкиным о советском политическом опыте. Полагая, что при всех негативных моментах история Советского Союза отражала некую объективную реальность, даже необходимость, один из «патриархов» отечественной полити-

ческой науки проводит интересные параллели между кризисами политических систем в XX и XXI вв.

Заканчивает номер наша традиционная рубрика «С книжной полки», где представлены рецензии на книги и рефераты работ, посвященных советскому наследию.

Номер не претендует на всеохватный анализ обозначенной выше проблемы. Скорее, это побуждение к дальнейшим размышлениям и исследованиям на эту тему. Мы надеемся, что представленные в нем материалы вызовут именно такой отклик у читателей.

О.Ю. Малинова

Е.Ю. Мелешкина

Состояние дисциплины: Влияние прошлого на современное политическое развитие

Неудобный юбилей: Итоги переосмысления «мифа основания» СССР в официальном историческом нарративе РФ¹

О.Ю. Малинова²

Аннотация. Статья посвящена анализу официальных политических решений, связанных с подготовкой к 100-летию революции 1917 года в России. На основе официальных документов, публичных выступлений политиков и материалов СМИ прослеживается эволюция подходов властвующей элиты постсоветской России к переосмыслению «мифа основания» советского государства и вписыванию его в новый исторический нарратив.

Ключевые слова: политика памяти; символическая политика государства; официальный исторический нарратив; коммеморация; революция 1917 года в России; Великая российская революция.

O.Yu. Malinova

Uncomfortable centenary: Preliminary results of reconsidering «the founding myth» of the USSR in the Russian official historical narrative

Abstract. The article analyses political decisions about commemoration of the centenary of the Revolution of 1917 in Russia. On the basis of the official documents, statements of the politicians and publications in media the author reveals the process of re-interpretations of the Revolution of 1917 in the Russian official historical narrative. This event is crucially important for development of the post-Soviet historical narrative as far as it had once played a role of «the foundational myth» of the Soviet regime.

Keywords: memory politics; symbolic policy; official historical narrative; commemoration; the Revolution of 1917 in Russia; Great Russian revolution.

Столетие революции 1917 года возвращает проблему интерпретации этого исторического события в повестку политики памяти, проводимой от имени Российского государства. После отмены праздника 7 ноября (в декабре 2004 г.) тема революции оказалась вытеснена из дискурса политического истеблишмента. Хотя общественные споры о значении событий 1917 г. никогда не прекращались, и в них нередко, особенно в канун юбилеев, включались лидеры тех или иных партий [см.: Малинова, 2015, гл. 2], президенты В.В. Путин и Д.А. Мед-

¹ Статья подготовлена на основе исследования, проводимого в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” (НИУ ВШЭ)» в 2017–2018 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5–100», проект № 17-01-0034.

² **Малинова Ольга Юрьевна**, доктор философских наук, профессор, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный научный сотрудник ИНИОН РАН, e-mail: omalinova@hse.ru **Malinova Olga**, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Science (Moscow, Russia), e-mail: omalinova@hse.ru

ведов избегали высказываний на данную тему. Акт отмены праздника и был выражением новой государственной оценки революции: он зафиксировал понижение символического статуса события, некогда служившего «мифом основания» Советской России³. Однако это было скорее тактическое, нежели стратегическое решение: оно не столько свидетельствовало о содержательной оценке революции и определяло ее место в официальном историческом нарративе⁴, сколько позволяло политикам, выступающим от имени государства, уклониться от необходимости принять ту или иную сторону в спорах, раскалывающих общество.

Надвигающийся юбилей вынуждает властвующую элиту вернуться на арену символической борьбы, поскольку масштаб события не позволяет отказаться от его коммеморации⁵. А это, в свою очередь, требует выработки некой содержательной позиции. О том, что юбилей «неудобен» для политиков, выступающих от имени государства, свидетельствует и то, что решения о формате его проведения были приняты беспрецедентно поздно. Как правило, подготовка коммеморации подобных всемирно-исторических событий начинается заблаговременно, ибо приуроченные к ним научные и общественно-просветительские проекты требуют не только ресурсов, но и времени. Распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России, было подписано президентом Путиным в декабре 2016 г., менее чем за два месяца до юбилея Февраля и менее чем за 11 месяцев до юбилея Октября. Будучи предельно кратким, оно отражало важные символические решения. Во-первых, подлежащее коммеморации событие было названо «революцией 1917 года в России». На фоне других обсуждаемых вариантов – «великая», «русская», «российская», «социалистическая» и др. – этот выбор кажется нарочито нейтральным. Тем не менее он недвусмысленно отказывает «революции 1917 года» в «величии». Во-вторых, участие государства в подготовке юбилейных торжеств сведено к выделению ресурсов. Все полномочия по подготовке и проведению юбилейных мероприятий были поручены организационному комитету, который «рекомендовалось организовать» Российскому историческому обществу (РИО) [Распоряжение... 2016]. Для сравнения: подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне началась в 2013 г.; заседаниями оргкомитета руководил лично президент В.В. Путин.

Столь очевидное различие подходов к коммеморации двух событий, служивших главными узловыми точками советского исторического нарратива, подтверждает приверженность властвующей элиты установке на понижение символического статуса «мифа основания» Советской России. Однако на этот раз обстоятельства не позволяют уклониться от смысловых оценок. По иронии, в поисках приемлемой формулы коммеморации столетия революции Путин и его администрация не нашли ничего лучше ельцинского «примирения и согласия», от которого отказались в 2004 г., отменяя праздник 7 ноября. Именно так смысл предстоящего юбилея был определен в послании президента Федеральному собранию. Упомянув о необходимости «еще раз обратиться к причинам и самой природе революций в России», Путин подчеркнул, что «уроки истории нужны нам прежде всего для *примирения*, для укрепления обществен-

³ *Миф основания* (foundation myth) – это история о моменте «начала» группы, политической системы или какой-то области деятельности, которая открывает перспективу определенного будущего. Мифы этого типа несут в себе идею, что «потом» все будет по-другому (лучше) и что новая система избавлена от того, что было неприемлемо в старой [Schöpflin, 1997, p. 33]. «Великая Октябрьская социалистическая революция» выполняла функцию такого мифа для Советской России.

⁴ Под *историческим нарративом* здесь понимается смысловая схема, которая описывает генеалогию макрополитического сообщества / нации и «объясняет», каким образом его прошлое «определяет» его настоящее и будущее. *Официальным*, на наш взгляд, может считаться *нарратив*, который представлен в текстах и актах, освященных авторитетом государства [подробнее см.: Малинова, 2016]. Процесс принятия решений, формирующих такой нарратив, – в отличие от его результата – не является публичным. Акторов этого процесса я называю *властвующей элитой*, имея в виду совокупность должностных лиц, участвующих в выработке политики памяти, осуществляемой от лица государства [см.: Малинова, 2015, с. 27–29].

⁵ Термином *коммеморация* принято обозначать совокупность публичных актов, направленных на «увековечивание», точнее – актуализацию памяти об исторических событиях и фигурах.

ного, политического, гражданского *согласия, которого нам удалось сегодня достичь* (выделено мною. – О. М.)» [Путин, 2016]. Та же смысловая линия прослеживается и в плане основных мероприятий, подготовленном оргкомитетом, созданным РИО: наряду с выставками, конференциями, круглыми столами, издательскими и образовательными проектами он предусматривает три «мемориальных мероприятия», главным из которых очевидно станут установка и открытие памятника Примирения в Керчи, запланированная на 4 ноября 2017 г.⁶ [План... 2017, с. 13].

Что означает это возвращение к формуле 20-летней давности? Каким образом она вписывается в современный официальный исторический нарратив? И какова вероятность того, что, не сработав тогда, она окажется более успешной сейчас? Действительно ли «согласие» по поводу прошлого и настоящего, не сложившееся в 1990-х годах, «достигнуто сегодня»? Ответы на эти вопросы даст ближайшее будущее. Но уже сейчас можно оценить потенциальные возможности и ограничения подхода, выбранного властвующей элитой, реконструировав логику эволюции официального исторического нарратива в постсоветской России. Решению этой задачи и посвящена настоящая статья. На основе официальных документов, публичных выступлений политиков и материалов СМИ я прослежу основные этапы трансформации официального исторического нарратива, фокусируя внимание на изменении смысловой роли событий 1917 г. Я начну с описания теоретической модели, поясняющей логику анализа. Она основана на социально-конструктивистском подходе и опирается на фундаментальные посылы концепции *символической политики*, которая служит для анализа публичных действий и взаимодействий, связанных с утверждением конкурирующих способов интерпретации социальной реальности [подробнее см.: Малинова, 2012]. Отталкиваясь от культурных моделей работы с прошлым, задающих векторы российской политики памяти, я проанализирую, как на разных этапах решалась задача переосмысления «мифа основания» советского государства.

Постсоветская символическая политика: Теоретическая модель для анализа политики памяти

Продвигая или поддерживая определенные интерпретации коллективного прошлого, представители властвующей элиты преследуют политические цели, которые не обязательно связаны с формированием определенной концепции прошлого: они стремятся легитимировать собственную власть, укрепить солидарность сообщества, оправдать принимаемые решения, мобилизовать электоральную поддержку, показать несостоятельность оппонентов и проч. По этой причине термины «историческая политика» и «политика памяти» не всегда подходят для описания *политического использования прошлого*. Последнее понятие шире предыдущих, оно описывает любые практики обращения к прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в последовательную стратегию. Термин «историческая политика» возник как категория политической практики – сначала в 1980-х годах в ФРГ, затем в 2000-х годах в Польше; он описывает определенный тип политики, использующей прошлое. По определению А. Миллера, *историческая политика* – это особая конфигурация методов, предполагающая «использование государственных административных и финансовых ресурсов в сфере истории и политики памяти в интересах правящей элиты» [Миллер, 2012, с. 19]. Интерпретируемая таким образом историческая политика оказывается частным случаем *политики памяти*, под которой понимается деятельность государства и других акторов, направленная на утверждение тех или иных представлений о коллективном прошлом и формирование под-

⁶ Два других пункта этого раздела плана – программа «Памяти погибших. Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год», проходившая в храме Христа Спасителя 18–19 февраля 2017 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (она включала научную конференцию и литургию) и издание серии художественных почтовых марок.

держивающей их инфраструктуры. Все три понятия – политическое использование прошлого, политика памяти и историческая политика – могут рассматриваться как проявления символической политики, связанной с конструированием представлений о прошлом. Эту область символической политики по праву можно считать одной из основных, ибо, как точно заметил П. Бурдьё, для внедрения новых представлений о строении социальной реальности «самыми типичными стратегиями конструирования являются те, которые нацелены на ретроспективную реконструкцию прошлого, применяясь к потребностям настоящего, или на конструирование будущего через творческое предвидение, предназначенное ограничить всегда открытый смысл настоящего» [Бурдьё, 2007, с. 79].

Нередко утверждают, что коллективная память оперирует *мифами* – упрощенными и эмоционально окрашенными нарративами, которые сводят сложные и противоречивые исторические процессы к удобным для восприятия простым и «самоочевидным» схемам. Мне представляется более точным говорить об *актуализированном прошлом* (по-английски – *usable past*) как о своеобразном репертуаре исторических событий, фигур и символов, которые наделяются смыслами, в той или иной мере значимыми для современных политических и культурных практик. Ядро этого репертуара образовано уже «состоявшимися» мифами, периферия же представляет собой пестрый набор не столь «самоочевидных», но тем не менее узнаваемых смысловых ассоциаций.

Репертуар актуализированного прошлого в известном смысле является общим «достоянием» всех участников публичного пространства и может служить предметом интерпретации, присвоения и оспаривания. Вместе с тем властвующая элита распоряжается ресурсами, позволяющими формировать *«инфраструктуру» коллективной памяти*. В частности – регулировать содержание школьных программ и учебников, вносить изменения в календарь праздников и памятных дат, учреждать государственную символику и награды, регламентировать официальные ритуалы, определять символическую конфигурацию публичных пространств (топонимия, памятники) и проч. Поэтому можно сказать, что актуализированное прошлое является для политиков и ресурсом, применение которого сопряжено с определенными выгодами и рисками, и объектом символических инвестиций. Октябрьская революция 1917 года остается частью актуализированного прошлого, в том числе и потому, что мифы о ней опираются на инфраструктуру памяти, созданную в советский период.

Политика памяти в постсоветской России изначально представляла собой «поле битвы», на котором сталкивались не просто соперничающие идеологические интерпретации ключевых исторических событий, но принципиально разные культурные модели работы над прошлым.

С одной стороны, продолжалось начатое еще в период перестройки переосмысление истории, связанное с «восстановлением памяти» о принудительно забытом прошлом и осознанием «человеческой цены» того, что в советском нарративе представлялось в качестве достижений социалистического режима. Такая политика памяти вписывается в модель *«проработки трудного прошлого / коллективной травмы»*⁷, которую с большим или меньшим успехом осваивают многие страны, получившие в наследие от бурного и трагического XX в. «память» о гражданских войнах, массовых репрессиях, этнических чистках, геноциде и иных преступлениях против человечности. Политика «проработки прошлого» связана с «дискурсом о преступлении и травме», с «устранением причиняющей боль асимметрии памяти» жертв, с разоблачением и осуждением преступников, и в конечном счете – с поисками примиряющего нарратива, позволяющего противоборствующим сторонам «включить свое противоположное видение событий в общий контекст более высокого уровня» [Ассман, 2014, с. 69, 72]. Однако

⁷ Мне представляется, что, хотя коллективная травма часто выступает определяющим фактором такой политики памяти, неверно сводить ее к этому аспекту: речь идет о более комплексном процессе, который имеет разные векторы для разных групп.

даже в случае успеха «примирение и согласие» – это скорее (всегда обратимый) процесс, нежели окончательный результат.

С другой стороны, после распада СССР возникла необходимость конструирования исторического нарратива, способного служить основанием новой макрополитической идентичности. В российском случае эта типовая задача политики памяти, которую элиты многих стран решали в процессе нациестроительства, осложняется тем, что речь идет о «выкраивании» истории «нации» для сообщества, выступающего наследником ядра империи (точнее, даже двух империй). Отсутствие определенности относительно других элементов конструируемой идентичности (в частности, оснований идентификации и символических / географических границ сообщества) дополнительно усугубляет ситуацию. Вместе с тем *политика памяти, направленная на консолидацию нации*, имеет определенную логику: в таких случаях основной упор делается на событиях и символах прошлого, укрепляющих положительные представления нации о себе [Smith, 1999; Coakley, 2007; Каспэ, 2012]. Полезным «строительным материалом» для консолидирующих национальных нарративов оказывается «память» о былых победах, о ключевых вехах строительства государства, о вкладе соотечественников в сокровищницу мировой культуры и т.п. Наглядной иллюстрацией этого репертуара могут служить памятники государственным деятелям, полководцам, героям и деятелям культуры, установленные в столицах разных стран мира.

У описанных моделей политики памяти разные задачи и разные механизмы. Первая из них является ответом на «асимметрию памяти», вызванную принудительным «забвением». Она работает с наследием «преступления и травмы», которое разделяет общество на группы и побуждает испытывать гнев, стыд и скорбь. Вторая модель, напротив, нацелена на консолидацию нации вокруг наследия прошлого, которым можно гордиться. Оба типа политики памяти построены на «вспоминании» и «забвении», но осуществляют их на свой лад. В постсоветской России эти разные политики памяти проводятся одновременно, и за ними стоят разные коалиции общественных сил.

Революция 1917 года оказывается отправной точкой для нарративов, на которые опирается политика «проработки прошлого» – как поворотное событие, запустившее череду трагических последствий (распад империи, Гражданскую войну, «красный» и «белый» террор, издержки «ускоренной модернизации», массовые репрессии и др.). Но одновременно она является важным символическим ресурсом для «нациестроительной» политики памяти: во-первых, как момент исторической трансформации, который нельзя игнорировать, во-вторых, как событие, оказавшее огромное влияние на ход мировой истории. В логике нациестроительства такие события представляются особо ценными символическими ресурсами, ибо они служат подтверждением «миссии нации». Именно такую функцию миф о Великой Октябрьской революции выполнял в советском историческом нарративе. Кризис, а затем и распад советской идеологии поставили этот миф под сомнение. Но будучи одной из опор советской идентичности, он не может быть просто «забыт» – он должен быть трансформирован. Тем более что «всемирно-историческое значение» революции остается фактом, который не ставится под сомнение.

Это противоречивое наложение смысловых векторов реинтерпретации революции 1917 года делает выработку ее «государственной оценки» сложной политической задачей. На протяжении четверти века после распада СССР властвующая элита решала ее по-разному.

«Критический» нарратив 1990-х: Революция как «катастрофический срыв»

Постсоветская политика памяти в полной мере отражает дилеммы, с которыми сопряжено конструирование идентичности сообщества, стоящего за современным Российским государством. Демонтаж советского режима облегчался распадом поддерживавшего его идеологи-

ческого «метанарратива», который произошел еще в конце 1980-х годов [Gill, 2013]. Однако для мобилизации поддержки трудных реформ требовалось найти какие-то «замещающие» конструкции. В отсутствие готовой «теории посткоммунистической трансформации» наиболее очевидным способом построения такого рода конструкций стала переоценка опыта «Запада» – и собственного прошлого.

1990-е годы прошли под знаком острой конфронтации между сторонниками и противниками Б.Н. Ельцина, что затрудняло формирование государственной политики памяти. Риторика президента и его соратников была всецело подчинена оправданию курса на радикальную трансформацию «тоталитарного» порядка (формулировки целей имели отчетливые коннотации с идеологемами холодной войны), что влекло за собой критику советского опыта. Исторический нарратив, артикулировавшийся исполнительной властью, можно назвать *критическим*. Продолжая проработку трудного прошлого, начатую в годы перестройки, он развивал идею *новой России*, противопоставляя ее России «тоталитарной», советской.

Отношение к дореволюционному наследию было более сложным. С одной стороны, начатые преобразования интерпретировались как «восстановление связи времен», разорванной в годы советской власти. С другой стороны, в дискурсе ельцинской элиты дореволюционное прошлое нередко описывалось сквозь смысловую рамку авторитарной традиции, которую преодолевает современная, демократическая Россия. Напоминания о хрупкости ростков либерализма выполняли мобилизационную функцию: они должны были оттенить грандиозность переживаемых реформ и одновременно подчеркнуть связанные с ними риски⁸. Думается, однако, что стремление элиты начала 1990-х противопоставлять «демократическую» Россию как «советской», так и «царской» было связано не только с политической прагматикой. Оно опиралось на представления, сформированные советским нарративом о дореволюционном прошлом, стержнем которого была история революционно-освободительной борьбы с самодержавием, увенчавшейся Октябрьской революцией. Критическая реинтерпретация «главного события XX века» меняла оценки с плюса на минус, не пересматривая связи событий, заданные прежним нарративом. Это логически вело к выводу о закономерности «тоталитарного» режима на отечественной почве⁹. Хотя представители ельцинской элиты не делали подобных умозаключений публично, они конструировали образ новой, демократической России, противопоставляя настоящее (авторитарному и тоталитарному) прошлому; идея преемственности с отечественной демократической традицией использовалась в их риторике крайне редко.

Значение революции в официальном дискурсе 1990-х годов подверглось радикальной переоценке. То, что в советское время интерпретировалось как исторический рывок, позволивший России стать лидером прогресса (по коммунистической версии), трансформировалось в «катастрофу», прервавшую «нормальный» путь развития страны. Действия реформаторов представлялись как возобновление демократического проекта, прерванного Октябрьской революцией. Именно такую смысловую схему событий XX в. Б.Н. Ельцин предложил, выступая перед участниками Конституционного совещания – конференции представителей органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций, созванной им в июне 1993 г. для завершения подготовки «президентского» проекта новой Конституции Российской Федерации, альтернативного проекту, который был подготовлен Конституционной

⁸ Вот пример подобной аргументации, взятый из выступления Ельцина: «Россия хорошо знает, что такое право силы. Осознать силу права только предстоит... Тем самым зреет опасное для нашего развития явление: права личности, никогда в отечественной истории не считавшиеся практическим государственным приоритетом, рискуют и впредь остаться декларативными» [Ельцин, 1995].

⁹ Проиллюстрируем эту логику характерным примером из публицистики тех лет: «То, что первый тоталитарный режим XX века возник именно у нас, неудивительно: традиция древняя, при Иване Грозном уже во всех основных чертах сложившаяся. Бедное население, слабая экономика, требующая постоянных расходов, большая армия, отчасти расселенная по слободам на подножный корм. Странная при отсталости страны песнь, мессианство религиозное (потом – коммунистическое), болезненное недоверие к “западу” при склонности к компромиссам с “востоком”...» [Голованов, 1996].

комиссией Съезда народных депутатов. Обосновывая необходимость «демократической» конституции, решительно порывающей с советскими традициями, Ельцин возводил ее генеалогию к событиям 1917 г.: «С принятием Конституции завершится учреждение подлинной демократической республики в России, – утверждал он. – Судьбе было угодно, чтобы этот процесс растянулся на многие десятилетия. Республика в нашей стране была провозглашена 1 сентября 1917 года декретом Временного Правительства. Ее становление было сразу прервано Октябрьской революцией, которая провозгласила Республику Советов. Сейчас рождается новая республика – Федеративное демократическое государство народов России» [Ельцин, 1993]. Апеллируя к послеоктябрьской истории, Ельцин доказывал нелегитимность противостоящего ему Верховного Совета: «Советы разогнали в 1918 году Учредительное собрание, а оно было сформировано в ходе демократических выборов. Нынешние представительные органы избирались на основе советского избирательного закона, а значит, они остаются продолжателями захваченной силой власти. В демократической системе они не легитимны» [Ельцин, 1993]. Однако Конституция 1993 г., принятая по итогам насильственного «разрешения» конфликта между президентом и Верховным Советом, не могла восприниматься как полноценное «восстановление легитимности».

В феврале 1996 г., в рамках фактически начавшейся президентской избирательной кампании, Ельцин включил в свое ежегодное послание Федеральному собранию РФ большой фрагмент, излагавший официальный нарратив истории XX в. В нем уже не было речи о преемственности между Февралем 1917 г. и новой, демократической Россией, зато подробно описывались катастрофические последствия «особого пути», начатого Октябрем. Напоминая, что в XX в. другие «государства отказывались от авторитарных форм правления, переходили к демократии, к поиску разумных сочетаний свободы и справедливости, рынка и социальных гарантий государства», Ельцин признавал, что «царская Россия, обремененная грузом собственных исторических проблем, не смогла выйти на эту дорогу» [Ельцин, 1996]. Он утверждал, что отсутствие демократических традиций в совокупности с «глубиной общественных противоречий» предопределили «радикализм российского революционного процесса, его стремительный срыв от Февраля к Октябрю». В свою очередь, Октябрьская катастрофа стала разрушительным фактором, лишившим Россию накопленного культурного достояния («Этим разрушительным радикализмом – “до основания, а затем” – объясняется тот факт, что в ходе ломки прежних устоев оказалось утрачено многое из достижений дореволюционной России в сфере культуры, экономики, права, общественно-политического развития» [там же]). Ельцин крайне негативно характеризовал предложенную большевиками «сверхжесткую мобилизационную модель развития» и демонстративно отказывался от позитивной оценки того, что прежде ставилось в заслугу советскому режиму: он подчеркивал, что «превращение России в мощную военно-индустриальную державу было достигнуто надрывом сил народа, за счет колоссальных людских потерь», и полностью исключил из своего пересказа политической истории России тему Великой Отечественной войны [Ельцин, 1996]¹⁰. В контексте избирательной кампании, в которой его главным противником был кандидат от народно-патриотического блока Г.А. Зюганов, Ельцину важно было показать, сколь гибелен путь, на который призывают вернуться его оппоненты. Логика политической борьбы укрепляла стремление властвующей элиты конструировать образ «новой» России по принципу контраста, заостря негативные оценки прошлого.

Переопределение Октября в качестве «трагедии» и «катастрофы» означало радикальную трансформацию советского мифа: то, что прежде воспринималось в качестве «национальной

¹⁰ Это не значит, что тема войны не была отражена в послании. Завершая его, Ельцин произнес: «Верю в свое поколение, мужавшее в годы войны и тяжелой мирной жизни, которое не сломить под грузом нынешних проблем» [Ельцин, 1996]. Таким образом, тема войны была представлена как бы в другой плоскости – как «живая память», а не «политическая история».

славы», теперь стало рассматриваться в логике «коллективной травмы». Трудно сказать, имела ли шансы на успех попытка столь радикального замещения фреймов коллективной памяти о некогда «главном событии XX века». Однако она не только не была поддержана достаточными ресурсами, но и столкнулась с весьма успешным контрдискурсом, который, в отличие от символической политики властвующей элиты, опирался на менее рискованную стратегию частичной трансформации привычного нарратива.

Главной смысловой доминантой дискурса «народно-патриотической оппозиции» были распад СССР и «разбазаривание» ее достижений. Октябрьская революция, формально сохраняя значение мифа основания исчезнувшей страны, превращалась в удобный для политических манипуляций *символ утраты* – тем более что сохранение за 7 ноября статуса праздничного дня давало повод для ежегодной коммеморации. В свете итогов завершившейся недавно холодной войны Октябрь 1917 года представлялся как эпизод цивилизационного противостояния Запада с Россией, выступающей в роли «последнего противовеса» его гегемонизму. В рамках такой смысловой схемы Октябрь лишался части своего героического ореола и становился одним из эпизодов многовекового «столкновения цивилизаций». Одновременно он приобретал новое качество, превращаясь из события, разделяющего прошлое на «до» и «после», в своеобразную кульминацию «русского духа» и даже в символ его преемственности. Согласно концепции Г. А. Зюганова, «Советская власть... унаследовала у исторической России как нравственные идеалы, так и ее державный опыт в постройке мощного государства», что и привело к ее небывалому подъему в XX в. [Зюганов, 1994, с. 144]. Классовый подход к построению исторического нарратива был заменен националистическим.

Строго говоря, акцентирование преемственности отечественной истории в духе националистической парадигмы ставило под сомнение ее прежнюю функцию, ибо миф основания требует противопоставления «до» и «после». Однако поскольку революция продолжала рассматриваться как событие, причинно связанное с успешной модернизацией, победой над фашизмом, превращением России в великую державу, созданием справедливой системы распределения (пусть и при не вполне эффективной экономике) и др. достижениями, знакомыми по советскому канону, сохранялась возможность использования прежнего смыслового репертуара. В конце концов, Октябрьская революция оставалась центральным элементом коммунистической мифологии, что позволяло опираться на «инфраструктуру» коллективной памяти, унаследованную от СССР, включая традицию ежегодной коммеморации. Как показала К. Смит, начиная с 1991 г. ритуалы празднования 7 ноября менялись, приспосабливаясь к новому контексту: в отличие от критиков Октября, которым не удалось закрепить практику гражданских антикоммунистических контрдемонстраций (они были действительно массовыми лишь в 1991–1992 гг.), его сторонники вполне успешно совершенствовали свои праздничные ритуалы, осваивая новые места памяти [Smith, 2002, p. 81–83]. Благодаря удачно найденной стратегии трансформации советского нарратива коммунисты и их союзники сумели воспользоваться доставшимися по наследству символическими ресурсами, ценность которых усиливалась по мере роста ностальгии по утраченной «стабильности». Даже будучи лишены возможности «инвестировать» в дальнейшее развитие этих ресурсов, на первых порах они пользовались значительным преимуществом перед противниками.

Таким образом, попытки властвующей элиты представить революцию как трагедию, отвечавшие культурной модели проработки «трудного» прошлого, наталкивались на стремление «народно-патриотической» оппозиции превратить ее в одну из несущих опор национальной идентичности. В силу этого в 1990-х годах Октябрьская революция переоценивалась по принципу игры с нулевой суммой.

После выборов 1996 г., продемонстрировавших готовность значительной части избирателей поддержать кандидата от КРПФ, Ельцин и его окружение начали принимать меры к смягчению конфронтации. 7 ноября 1996 г., за год до 80-летия Октябрьской революции, Б.Н. Ельцин

издал указ, введивший новую формулу праздника, оставшегося в наследство от советской власти – День согласия и примирения, – и объявлявший 1997 год Годом согласия и примирения. В том же указе было предусмотрено проведение конкурса по созданию памятников, увековечивающих память жертв революций, Гражданской войны и политических репрессий [О Дне... 1996]¹¹. Как вспоминала потом Л. Пихоя, идея переименования праздника возникла в октябре 1996 г. на одном из совещаний у руководителя президентской администрации А. Чубайса: «Сама идея заключалась в следующем: в конце концов, после Великой Октябрьской революции прошло более 70 лет, и можно изменить символику. Почему бы не переименовать праздник Великой Октябрьской революции в праздник, объединяющий всех, в День согласия и примирения? То есть Октябрьская революция всех разделила, но мы не отменяем этот праздник, а переименовываем» [Соколова, Яковлева, 2004]. По-видимому, решение действительно было спонтанным; Ельцин подписал указ через день после операции на сердце, как потом злословили оппоненты, «не приходя в сознание после наркоза».

Ни в 1997 г., ни позже не было предпринято каких-либо попыток сформировать новые сценарии и ритуалы для 7 ноября в качестве Дня согласия и примирения [см.: Пинскер, 1997]. Во время празднования 80-летия Октябрьской революции Ельцин воздержался от комментариев по поводу юбилейной даты; в своем традиционном радиообращении, прозвучавшем незадолго до праздника, он ограничился призывом не участвовать в осенних мероприятиях оппозиции, а заняться домашними делами: квасить капусту, утеплять окна и вообще готовиться к зиме [см.: Драгунский, 1997]. Таким образом, юбилейная дискуссия о значении революции происходила на фоне демонстративного отказа главы государства обсуждать данную тему. Объявленное «согласие и примирение» не наступило не только потому, что оппоненты оказались к нему не готовы, но и потому, что его инициаторы – президент и его администрация – не проявили должной настойчивости в трансформации одного из основных элементов инфраструктуры, поддерживающей советский миф об Октябре – посвященного ему праздника.

«Апологетический» нарратив 2000-х: «Октябрьский переворот» или забытая революция?

С приходом к власти В.В. Путина в практике политического использования прошлого произошли изменения. В начале 2000-х годов принцип построения официального исторического нарратива изменился: «новая» Россия была объявлена законной наследницей «тысячелетнего государства», таким образом, во главу угла ставилась *преемственность*. Не будучи в отличие от своего предшественника связан принадлежностью к политико-идеологическим лагерям 1990-х годов, В.В. Путин мог себе позволить использовать идеи и символы из репертуара «народно-патриотической оппозиции», казавшиеся абсолютно неприемлемыми «демократам». Новшества заключались не только в избирательной «реабилитации» советских символов: теперь стержнем символической политики стала идея великодержавности, проецируемая на всю «тысячелетнюю историю» России. В путинском официальном дискурсе именно государство (вне зависимости от менявшихся границ и политических режимов) стало представляться в качестве ценностного стержня, скрепляющего макрополитическую идентичность. Такой принцип построения официального исторического нарратива можно назвать *апологетическим*, поскольку он сосредоточен на «позитивных» эпизодах, поддерживающих высокую коллективную самооценку. Центральным смысловым моментом нового нарратива – своеобраз-

¹¹ Эта инициатива так и не была реализована. В 2011 г. в предложениях об учреждении общенациональной государственно-общественной программы «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении», подготовленных рабочей группой Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, вновь говорилось о необходимости создания «как минимум двух общенациональных мемориально-музейных комплексов рядом с обеими столицами и монументального памятника жертвам в центре Москвы» [Предложения... 2011].

ным «мифом основания» современной России – стала Великая Отечественная война [Копосов, 2011, с. 163–164]. При этом прошлое «использовалось» в технике коллажа: на стержень «тысячелетнего великого государства» нанизывались события и фигуры, которые в логике других смысловых схем, конкурирующих в публичном пространстве, представлялись взаимоисключающими.

Это было удобное технологическое решение, позволявшее избирательно использовать советское прошлое, исключая при этом из репертуара наиболее одиозные моменты. В выступлениях Путина и позднее Д.А. Медведева можно обнаружить немало критических оценок советского опыта; речь не шла о его тотальной апологии. Тем не менее тема «трудного прошлого» перестала быть частью официального нарратива¹². История СССР оказалась «политически пригодной» прежде всего как история великой державы, которая несмотря на все трудности смогла осуществить (пусть и не вполне совершенную) модернизацию и превратиться в ведущего актора мировой политики. Тоталитарные практики и репрессии были «вынесены за скобки». Как заметил И. Калинин, мы имеем дело с «политикой, направленной на перекодирование ностальгии по советскому прошлому в новую форму российского патриотизма, для которого «советское», будучи лишено исторической специфики, рассматривается как часть широко понимаемого... культурного наследия» [Kalinin, 2011, p. 157]. Примечательно, что сходная редукция «памяти» имела место в массовом сознании [Дубин, 2011, с. 18–19].

В этом контексте теоретически были возможны разные подходы к работе с символом Октябрьской революции: как мы видели на примере «народно-патриотического» дискурса, потенциал «великого события» вполне мог быть использован в качестве строительного материала для «государственнического» нарратива – особенно с учетом вышеупомянутой операции перекодирования. В публицистике того времени не было недостатка в предложениях именно такого варианта «использования» Октября. Одни авторы подчеркивали международный потенциал этого символа: «Впервые Россия (СССР явился лишь временной формой ее существования) в огромной степени влияла на устроения в глобальном масштабе. Она предлагала свою модель развития (именно российскую, а не интернационально-коммунистическую) в качестве образца всему миру. Впервые был брошен нешуточный вызов абсолютной ценности западноевропейского опыта для остального человечества» [Никонов, 1999]. Другие интерпретировали Октябрьскую революцию как событие, предотвратившее «распад России» и сохранившее за ней «статус великой державы, а не “чистого листа бумаги”», как того хотел в 1918 году американский президент Вильсон, сводивший в то время границы России “к среднерусской возвышенности”» [Константинов, 2000]. Многие выступали с предложением вернуть прежнее название праздника. Как писал один из авторов «Российской газеты», «нам нет резона стыдиться этого вселенского потрясения, которое в последнее время кое-кто низводит до уровня “большевистского переворота”», поэтому те, кто «предлагает забыть о нем, как о некоей беспричинной семейной склоке, объявив годовщину Октябрьской революции “Днем согласия и примирения”», лишают Россию ее истории [Васильков, 2000; ср.: Константинов, 2000]. Эти и другие подобные публикации были ответом на изменения символической политики, обозначенные первыми шагами Путина на посту президента: казалось, что признание «несомненных достижений» советской эпохи открывает возможность для изменения официальной интерпретации Октября.

¹² Случаи обращения к ней первых лиц государства редки [см.: Малинова, 2015, с. 171–173]. В 2010 г. Д.А. Медведев дал однозначную официальную «государственную оценку» Сталину. Накануне Дня Победы он заявил в интервью «Известиям», что «Сталин совершил массу преступлений против своего народа. И несмотря на то, что... под его руководством страна добивалась успехов, то, что было сделано в отношении собственного народа, не может быть прощено» [Медведев, 2010]. Оценки же Путина, который время от времени поднимает эту тему в режиме произвольного диалога, всегда намеренно неоднозначны: не солидаризируясь с теми, кто настаивает на «возвращении» Сталина в пантеон героев, он неизменно демонстрирует понимание их точки зрения.

Собственно, реализуя «доктрину тотальной преемственности» путинская элита шла по стопам КПРФ, которая в начале 1990-х трансформировала советский нарратив, сделав историю СССР своеобразной кульминацией «тысячелетней истории» русского народа. Правда, сама по себе версия, разработанная «народно-патриотической оппозицией», не подходила на роль официального нарратива, поскольку она была построена по модели мифа об утраченном «золотом веке» [см.: Schöpflin, 1997; Smith, 1999], т.е. воспроизводила смысловую схему, в которой [печальное] настоящее противопоставлялось [прекрасному] прошлому, чтобы мобилизовать сообщество на перемены ради [светлого] будущего. Такая схема была удобна для оппозиции, но не для властвующей элиты, которой было важно оправдать настоящее. Тем не менее пересказывание советского прошлого «патриотическим языком общего наследия» [Kalinin, 2011, p. 159] в принципе позволяло не только «забыть» о его «неудобных» страницах, но и переосмыслить символ Октября как – пусть не кульминационный, но все же «великий» – эпизод «тысячелетней истории». Это не слишком выбивалось бы из общей эклектической конструкции «тысячелетней истории».

Однако этого не произошло, Путин и его соратники предпочли продолжить демонтаж «инфраструктуры» коллективной памяти о революции, отменив в 2004 г. посвященный ей праздник. В начале 2000-х годов федеральные и московские власти пытались экспериментировать с форматами празднования 7 ноября, именовавшегося теперь Днем согласия и примирения. В 2000 г. в этот день помимо традиционных демонстраций и митингов левых сил на Васильевском спуске прошла молодежная акция движения «Идущие вместе», посвященная президенту Владимиру Путину, а на Ордынке открыли памятник Анне Ахматовой [Закатнова, 2000]. В 2001 г. 7 ноября проходил торжественный парад на Красной площади, посвященный 60-летию парада 1941 г.; а во второй половине дня в тот же день члены общероссийской молодежной общественной организации «Идущие вместе» проводили акцию по очистке города от мусора [Тучкова, 2001]. В 2003 г. праздник проходил незадолго до думских выборов, и был отмечен мероприятиями не только левых, но и правых сил. Однако эти эксперименты не имели продолжения, и единственным устойчивым ритуалом праздника оставались мероприятия левых.

В конце 2004 г. в результате внесения поправок в Трудовой кодекс 7 ноября перестало быть нерабочим праздничным днем. «Вместо него» появился новый государственный праздник – День народного единства 4 ноября, весьма условно приуроченный к дате освобождения Китай-города бойцами народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 г. Операцию по замене праздника в каком-то смысле облегчило переименование, произведенное Ельциным: праздник был не просто отменен, а заменен на День народного единства 4 ноября. Инициатором замены выступил Межрелигиозный совет России, объединяющий так называемые традиционные конфессии. Как пояснил тогдашний глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Кирилла, «мы не выступали с инициативой отмены празднования 7 ноября. Мы выступили с инициативой сделать 4 ноября Днем согласия и примирения, потому что 7 ноября в силу исторических событий, произошедших в этот день, не может быть Днем примирения и согласия» [Митрополит Кирилл... 2004]. Формально речь шла не о переоценке Октябрьской революции, а о выборе более подходящего повода для праздника народного согласия / единства. Позже, 6 июля 2005 г., по предложению думского Комитета по труду и социальной политике были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», и 7 ноября стало памятной датой в формулировке «День Октябрьской революции 1917 года» (кроме того, этот день остается и днем воинской славы – «Днем проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)») [ФЗ от 13 марта 1995 г. № 31-ФЗ]. Таким образом, в итоге «путинской» реформы праздничного календаря 7 ноября вновь стало Днем Октябрьской

революции (правда, уже не «великой» и не «социалистической»). Ельцинская формулировка – «День согласия и примирения» – была упразднена.

Возникает вопрос: почему в середине 2000-х годов, как и в начале 1990-х, властвующая элита предпочла «отбросить» символ Октябрьской революции, вместо того чтобы работать над его трансформацией? Казалось бы, взятый на вооружение принцип «тотальной преемственности» открывает возможность для интеграции этого по общепринятым меркам «великого» события, несомненно значимого с точки зрения конструирования российской идентичности, в обновленный национальный нарратив. На мой взгляд, объяснений может быть несколько. Во-первых, трансформация мифа об Октябре требовала основательного погружения в споры о советском прошлом. Однако всецело сосредоточенная на «нациестроительном» апологетическом подходе, путинская политика памяти не была ориентирована на критическую «проработку» прошлого. Советское наследие использовалось в той мере, в какой оно подкрепляло апологетический нарратив. Во-вторых, если что-то и объединяло российскую политическую элиту 1990-х и 2000-х годов, то это страх перед революцией [см.: Малинова, 2015, с. 62–68]. Не случайно, как заметил В. Иноземцев, решение о «замене» праздника было принято 29 декабря 2004 г. – через три дня после завершения украинской оранжевой революции [Иноземцев, 2012]. В-третьих, возможно, сыграли свою роль и личные взгляды В.В. Путина, который никогда не выказывал особой приверженности Октябрьской революции [см.: Малинова, 2015, с. 78–79].

Так или иначе, решение о понижении символического статуса бывшего «мифа основания» Советской России позволило исключить тему 1917 г. из официальной политики памяти без малого на десять лет. Однако это не означает, что тема революции 1917 года перестала волновать общественность. Оставаясь центральным элементом разных нарративов, поддерживающих модели «проработки трудного прошлого» и «консолидации нации», она продолжала оставаться предметом острых споров.

Поиски смысловой формулы для «неудобного юбилея»

Приближение 100-летнего юбилея возвращает тему революции в повестку официальной политики памяти. Дискуссии возобновились в связи с другим юбилеем – начала Первой мировой войны. 4 июля 2012 г. вопрос о ее коммеморации был поднят на встрече В.В. Путина с членами Совета Федерации. Горячо поддержав данную инициативу, Путин, по-видимому экспромтом, стал объяснять, почему эта война оказалась «забытой». По его версии, это произошло «не потому, что ее обозвали империалистической», а потому, что «тогдашнее руководство страны» предпочитало не вспоминать о собственном «национальном предательстве», определившем ее исход для России [Путин, 2012]. Как известно, в условиях Гражданской войны большевистское руководство подписало с де-факто проигравшей войну Германией сепаратный мир в Брест-Литовске. Некоторые историки усматривают в действиях большевиков, обеспечивших досрочный вывод России из войны, выполнение обязательств перед германским правительством, которое – это документально известно – оказывало им финансовую помощь. Однако Путин не стал развивать конспирологическую версию; он усмотрел «национальное предательство тогдашнего руководства страны» в действиях, которые привели к потере огромных территорий и принесли ущерб интересам страны. Правда, он тут же оговорился: большевистское руководство «искупило свою вину перед страной в ходе Второй мировой войны, Великой Отечественной» [Путин, 2012]. Очевидно, что при такой постановке вопроса Октябрьская революция вряд ли может рассматриваться как «великое событие», которым следует гордиться – скорее это момент трагического «срыва», «исправленный» последующим ходом истории.

Лидер коммунистов Г.А. Зюганов опроверг на партийном сайте заявление Путина о «национальном предательстве» большевиков, предложив свою версию событий, согласно кото-

рой в неудачах России в Первой мировой войне и падении империи виноваты «кризис царизма и вырождение династии Романовых». Большевики, по мнению Зюганова, не имеют отношения к распаду страны – напротив, «Гражданская война... быстро приобрела характер национально-освободительной», и победив, «они буквально в считанные годы заново собрали воедино подавляющую часть государства российского, обеспечив ему такое экономическое, социальное и культурное единство, которого наша страна никогда не знала прежде» [Зюганов, 2012].

Продолжение дискуссии последовало в связи с подготовкой Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, инициированной В.В. Путиным в феврале 2013 г. В ходе дискуссий рабочей группы по подготовке Концепции родился новый вариант определения событий 1917 г. – «Великая российская революция 1917–1921 гг.» [Концепция... 2013, с. 40]. По аналогии с Французской революцией авторы Концепции решили представить Великую российскую революцию как сложный процесс, начавшийся свержением самодержавия в феврале 1917 г. и закончившийся Гражданской войной [см.: Чубарьян, 2013]. Формула, предложенная разработчиками Концепции, подчеркивала всемирно-исторический характер «Великой российской революции» и «начавшегося в октябре 1917 г. “советского эксперимента”» как событий, оказавших сильнейшее влияние на общемировые процессы [Концепция... 2013, с. 39]. Вместе с тем она отдавала должное трагической стороне революции, обернувшейся «катастрофическими... людскими потерями», ростом детской беспризорности и распадом государства [там же]. Хотя новое определение событий 1917–1921 гг. вызвало новую волну споров, в какой-то момент казалось, что именно эта формула может быть положена в основу программы юбилейных мероприятий. С одной стороны, она в полной мере отвечает духу апологетической эклектики, характерной для путинской политики памяти: исторические эпизоды, имеющие кардинально разное общественно-политическое значение, собраны в единую смысловую конструкцию, подчеркивающую и трагическую, и всемирно-историческую составляющую «Великой российской революции». С другой стороны, данная формула в какой-то мере позволяет решать задачи «проработки трудного прошлого» (даже если она и не ставит их во главу угла). В силу этого формулировка, предложенная рабочей группой по разработке Концепции, казалось бы, способна вписаться в широкий спектр идеологических конструкций, представленных на современном «рынке идей».

Однако набор предложений относительно официальной формулы коммеморации этим не ограничился. В производство таковой включилась «тяжелая артиллерия» в лице министра культуры РФ В. Мединского и министра иностранных дел РФ С. Лаврова. Первый предложил «Платформу национального примирения», которую представил в мае 2015 г. на круглом столе «100 лет Великой российской революции: Осмысление во имя консолидации», организованном возглавляемым им Российским военно-историческим обществом в Музее современной истории России. Формула Мединского подчеркивала «живую преемственность в развитии страны от Российской империи к Советскому Союзу и далее – к Российской Федерации». Говоря о недопустимости «войны с памятью», министр культуры предлагал не углубляться в исторические оценки, а просто «проявить уважение к памяти героев обеих сторон (“красных и белых”))». Правда, сам он не удержался от оценок, заявив, что «искренне отстаивавшими свои идеалы» красными и белыми «двигал патриотизм», и потому «герои» «невинновны в массовых репрессиях и военных преступлениях». Таким образом, предложение Мединского сводилось к «примирению» за счет отказа от «критической проработки прошлого». Революцию предлагалось вписать в «апологетический» национальный нарратив как трагическое столкновение не пришедших к согласию «патриотов». Закреплением этой «патриотически-примирительной» формулы юбилея, по предложению Мединского, должен стать памятник примирения в «вернувшемся в родную гавань» Крыму – «там, где закончилась Гражданская война» [Мединский, 2015].

Несколько иная версия того же нарратива была предложена в статье С. Лаврова «Историческая перспектива внешней политики России», опубликованной в марте 2016 г. Опираясь на хронологическую рамку, предложенную авторами Концепции 2013 г., Лавров попытался вписать «революцию 1917 года и Гражданскую войну» в общемировой контекст: назвав их «тяжелейшей трагедией для нашего народа», он подчеркнул, что «трагедиями были и все другие революции». Министр иностранных дел высказывал опасение, что предстоящий юбилей «может быть использован для новых информационных атак на Россию», представляющих революцию «в виде какого-то варварского переворота, чуть ли не столкнувшего под откос европейскую историю». Возражая против возможных нападок, Лавров писал о «неоднозначном и многоплановом» воздействии революции 1917 года на мировую историю и представлял ее как «своего рода эксперимент по реализации на практике социалистических идей, имевших тогда широчайшее распространение в Европе». Хотя в этой версии не было рассуждений о «патриотизме» красных и белых, идея «непрерывности российской истории» также была поставлена во главу угла. Говоря о невозможности «вымарать какие-то периоды» нашей истории, автор статьи тем не менее в духе «апологетического» подхода призывал сосредоточиться на «позитивных традициях» [Лавров, 2016].

Таким образом, в преддверии юбилейного года в распоряжении лиц, принимавших решение о коммеморации, были как минимум три варианта ее формулы: 1) «Великая российская революция» как «сложный процесс», требующий взвешенной оценки, 2) «революция 1917 года и Гражданская война» как неотъемлемая часть мировой и «непрерывной российской» истории, 3) «примирение» на почве признания «патриотизма» как красных, так и белых. Как мы видели, выбор был сделан в пользу «революции 1917 года в России» как повода для «примирения» и «укрепления... согласия» [Путин, 2016].

Несмотря на очевидное сходство, выбранная формула не идентична ельцинскому «согласию и примирению». Хотя и в середине 1990-х годов основной целью была «стабилизация» достигнутого статус-кво, «согласие» тогда предполагалось достигнуть на базе «критического» нарратива. Поэтому если бы за переименованием праздника последовали реальные шаги по изменению инфраструктуры памяти о революции 1917 года, это в перспективе могло бы привести к «проработке» травмы и «включению» противоположных «видений событий в общий контекст более высокого уровня» [Ассман, 2014, с. 73]. Однако ни властвующая элита, ни оппозиция были не готовы работать над этими задачами.

В 2017 г. «примирение» предполагается на основе «апологетического» нарратива, ради поддержания «согласия, которого нам удалось достичь» по итогам «крымского консенсуса» [Путин, 2016]. Оно направлено не на проработку травмы, а на «усмирение страстей» с помощью «патриотической риторики». Можно согласиться с И. Калининым – «официальная идеологическая рамка отмечаемого юбилея предназначена как раз для того, чтобы встать на пути» призрака революции, «не дать ему стать частью возможного исторического горизонта, определяющего линии политического размежевания, – или хотя бы частью необходимой общественной исторической рефлексии» [Калинин, 2017]. В этом смысле выбор главного «мемориального мероприятия» – запланированного на 4 ноября 2017 г. открытия Памятника примирению в Керчи – выглядит примечательно. Не углубляясь в споры о «великой российской революции», властвующая элита собирается привязать «неудобный юбилей» к новым символам согласия – возвращению Крыма «в родную гавань» и недавно изобретенному «народному единству». Вопрос, однако, заключается в том, сможет ли миф о «достигнутом согласии» перевесить конфликты современных интерпретаций бывшего «мифа основания» Советской России. Ответ станет известен совсем скоро.

Список литературы

Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / Пер. с англ. Б. Хлебникова. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с.

Бурдые П. Социология социального пространства. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.

Васильков Ю. Третий путь в XXI век // Российская газета. – М., 2000. – № 241 (2605), 22 декабря. – С. 4.

Голованов Л. Мифы, которые мы выбираем // Общая газета. – М., 1996. – № 21, 30 мая. – С. 5.

Мединский В. Документ дня: Платформа национального примирения России. Министр культуры России сформулировал пять тезисов, обеспечивающих преемственность истории страны // Lenta.ru. – М., 2015. – 20 мая. – Режим доступа: <https://lenta.ru/articles/2015/05/20/medinskyvoice/> (Дата посещения: 01.05.2017.)

Драгунский Д. Октябрь уж отступил // Итоги. – М., 1997. – № 43. – С. 8.

Дубин Б. Символы возврата вместо символов перемен // Pro et contra. – М., 2011. – № 5 (53). – С. 6–22.

Ельцин Б.Н. О демократической российской государственности и проекте новой Конституции // Обозреватель – Observer. – М., 1993. – № 15. – С. 4.

Ельцин Б.Н. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: «О действенности государственной власти в России». – М., 1995. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_o_dejjstvennosti_gosudarstvennoj_vlasti (Дата посещения: 11.11.2012.)

Ельцин Б.Н. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: «Россия, за которую мы в ответе». – М., 1996. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996 (Дата посещения: 11.11.2012.)

Закатнова А. День примирения и согласия прошел без эксцессов // Независимая газета. – М., 2000. – 9 ноября. – Режим доступа: http://www.ng.ru/events/2000-11-09/2_day.html (Дата посещения: 04.06.2017.)

Зюганов Г.А. Взгляд за горизонт // Обозреватель – Observer. – М., 1994. – № 18. – С. 139–156.

Зюганов Г.А. «Не Ленин со Сталиным» // Персональный сайт Г.А. Зюганова. – М., 2012. – 24 июля. – Режим доступа: <http://www.zyuganov.kprf.ru/news/ne-lenin-so-stalinym> (Дата посещения: 04.06.2017.)

Иноземцев В. Раздвоение сознания // Независимая газета. – М., 2012. – № 232 (5719), 7 ноября. – С. 2.

Калинин И. Призрак юбилея // Неприкосновенный запас. – М., 2017. – № 111 (1). – С. 11–20. – Режим доступа: <http://www.nlobooks.ru/node/8279> (Дата посещения: 29.04.2017.)

Каспэ С.И. Политическая теология и nation-building: Общие положения, российский случай. – М.: РОССПЭН, 2012. – 191 с.

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. – М., 2013. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf> (Дата посещения: 21.04.2017.)

Константинов С. Октябрьская революция была неизбежна // Независимая газета. – М., 2000. – № 211 (2273), 5 ноября. – Режим доступа: http://www.ng.ru/politics/2000-11-05/1_inevitable.html (Дата посещения: 04.06.2017.)

Копосов Н.Е. Память строгого режима. История и политика в России. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 320 с.

Лавров С. Историческая перспектива внешней политики России // Россия в современном мире. – М., 2016. – Режим доступа: <http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Istoricheskaya-perspektiva-vneshnei-politiki-Rossii-18017> (Дата посещения: 01.05.2017.)

Малинова О.Ю. Символическая политика: Контурсы проблемного поля // Символическая политика / РАН. ИНИОН. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – М., 2012. – С. 5–16.

Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 207 с.

Малинова О.Ю. Официальный исторический нарратив как элемент политики идентичности в России: от 1990-х к 2010-м годам // Полис. Политические исследования. – М., 2016. – № 6. – С. 139–158.

Медведев Д.А. Интервью газете «Известия» // Портал «Президент России». – М., 2010. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/7659> (Дата посещения: 11.08.2016.)

Миллер А.И. Историческая политика в Восточной Европе начала XXI века // Историческая политика в XXI веке. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – С. 328–367.

Митрополит Кирилл считает духовной, а не политической инициативу отмечать День согласия и примирения 4 ноября // Православное информационное агентство «Русская линия». – М., 2004. – 28 октября. – Режим доступа: <http://rusk.ru/st.php?idar=712217> (Дата посещения: 21.04.2017.)

Никонов В. Российский век // Известия. – М., 1999. – 28 декабря. – С. 5.

О Дне согласия и примирения. Указ Президента РФ // Российская газета. – М., 1996. – № 214 (1574), 10 ноября. – С. 2.

Пинскер Д. Год, которого не было // Итоги. – М., 1997. – № 43. – С. 6.

План основных мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в России. – М., 2017. – 23 января. – Режим доступа: <http://rushistory.org/images/documents/plan100letrevolution.pdf> (Дата посещения: 22.04.2017.)

Предложения об учреждении общенациональной государственно-общественной программы «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении». Подготовлены Рабочей группой Совета по исторической памяти и переданы Президенту РФ на встрече 1 февраля 2011 года в Екатеринбурге. – Екатеринбург, 2011. – Режим доступа: http://www.president-sovet.ru/structure/group_5/materials/proposals_at_a_meeting_in_ekb/index.php (Дата посещения: 22.04.2017.)

Путин В.В. Ответы на вопросы членов Совета Федерации // Президент России. – М., 2012. – 27 июня. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/15781/work> (Дата посещения: 22.04.2017.)

Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию // Президент России. – М., 2016. – 1 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379> (Дата посещения: 21.04.2017.)

Распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России // Президент России. – М., 2016. – 19 декабря. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/acts/news/53503> (Дата посещения: 22.04.2017.)

Соколова М., Яковлева Е. Прибавление смуты. Что мы будем праздновать 4 ноября // Российская газета (Федеральный выпуск). – М., 2004. – № 3621, 4 ноября. – Режим доступа: <https://rg.ru/2004/11/04/prazdnik.html> (Дата посещения: 04.06.2017.)

Тучкова А. Примирение и согласие не только для левых // Независимая газета. – М., 2001. – № 208 (2518), 6 ноября. – Режим доступа: http://www.ng.ru/events/2001-11-06/6_november.html (Дата посещения: 04.06.2017.)

Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (с изменениями и дополнениями) // Система ГАРАНТ. – М., 1995. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/1518352/#ixzz38YvyM4Ii> (Дата посещения: 21.04.2017.)

Чубарьян А.О. Как школьные учебники переведут в новый стандарт?: Интервью с А. Чубарьяном // Коммерсантъ. – М., 2013. – 31 октября. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2332034> (Дата посещения: 21.04.2017.)

Coakley J. Mobilizing the past: Nationalist images of history. – Nationalism and ethnic politics. – L. etc., 2007. – Vol. 10, N 4. – P. 531–560.

Gill G. Symbolism and regime change in Russia. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2013. – viii, 246 p.

Kalinin I. Nostalgic modernization: The Soviet past as 'historical horizon' // Slavonica. – 2011. – Vol. 17, N 2. – P. 156–166.

Schöpflin G. The functions of myth and a taxonomy of myths // Myths and nationhood / Ed. by G. Hosking, G. Schöpflin. – N.Y.: Routledge, 1997. – P. 19–35.

Smith A.D. Myths and memories of the nation. – Oxford: Oxford univ. press, 1999. – 288 p.

Smith K.E. Mythmaking in the new Russia: Politics and memory during the Yeltsin era. – Ithaca etc.: Cornell univ. press, 2002. – xi, 223 p.

Концепция зависимости от траектории предшествующего развития: Основные положения и критика

*Я.В. Евсеева*¹³

Аналитический обзор¹⁴

Концепция зависимости от предшествующего развития (path dependence, ЗТПР) была разработана в экономической области Полом Дэвидом (Стэнфордский университет, США) [David, 1985; 2001; 2007] и Брайаном Артуром (Институт Санта-Фе, США) [Arthur, 1994]¹⁵. Эти авторы известны прежде всего своим анализом адаптации технологических стандартов. Согласно Артуру, та или иная технология, будучи принятой, затем склонна к «самоусилению» (self-reinforcement). Это связано с тем, что по мере дальнейшего использования технологии наблюдается возрастающая отдача (increasing returns): чем больше производится продукции по данной технологии, тем ниже стоимость каждого следующего продукта. Кроме того, облегчается обучение и возникают так называемые координационные эффекты (coordination effects): сетевое взаимодействие в рамках одних технологий увеличивает прибыль. Дэвид получил известность благодаря своим работам об экономике QWERTY [см., например: David, 1985]. По мнению исследователя, данная раскладка клавиатуры завоевала популярность именно потому, что обеспечивала возрастающую отдачу. Она позволяла набирать текст десятипальцевым методом и подходила многим пользователям. Вместе с тем, утверждает Дэвид, когда данная раскладка уже не была самой технологически продвинутой и удобной, большинство пользователей остались ей верны, поскольку переключение на другую технологию означало бы повышение затрат на обучение. Из данных исследований Артур и Дэвид делают следующие выводы. Заранее невозможно предсказать, какая именно технология возобладает, тем самым в начале процесса имеет место фактор случайности (contingency). Когда выбор сделан, в силу вступает самоусиление, и происходит блокировка траектории, ее своего рода «запирание» (lock-in), воспроизводящее один и тот же путь развития. Таким образом, «история имеет значение»¹⁶ – это утверждение стало одним из ключевых постулатов ЗТПР.

Обладатель Нобелевской премии по экономике Дуглас Норт (1920–2015) распространил ЗТПР на общественные институты, поскольку, по его мнению, в их случае также действует фактор возрастающей отдачи [North, 1993]. Все обозначенные Б. Артуром принципы Норт считал применимыми к институтам. В последних он видел «правила игры» в обществе, «формирующую человеческое общение структуру», которая состоит из формальных правил и неформальных ограничений (поведенческие нормы, разного рода условности и кодекс поведения, который индивид возлагает на самого себя) [ibid., p. 36]. При этом что акторы стремятся к образованию и инновациям, они в то же время стараются снизить стоимость своих транзакций и затраты на обучение. В итоге следование привычной траектории является обычной практи-

¹³ Евсеева Ярослава Вячеславовна, научный сотрудник отдела социологии и социальной психологии Института научной информации по общественным наукам РАН, e-mail: yar_evseeva@mail.ru. Evseeva Yaroslava, Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), e-mail: yar_evseeva@mail.ru

¹⁴ Аналитический обзор подготовлен в рамках исследовательского проекта «Исследование взаимоотношений власти и общества в России в ракурсе политической онтологии», осуществляемого при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 15-03-00008 а).

¹⁵ Дж. Махони возводит анализ траектории (path analysis) к модели линейного причинного анализа (linear causal analysis) Г. Саймона и Г. Блейлока [Mahoney, 2000, p. 539].

¹⁶ Дэвид пропагандировал направление, называемое им «исторической экономикой» [David, 2001].

кой в обществе, где игра подчиняется институциональным «правилам». К тому же институты дополняют друг друга (образуется паутина «институциональной матрицы» [ibid.]), что уменьшает возможности для реформирования отдельных институтов. Исследования Норта открыли путь для адаптации идей ЗТПР в политическую науку и социологию.

Одним из первых это сделал политолог Пол Пирсон (Калифорнийский университет в Беркли, США) [Pierson, 2000]. С его точки зрения, ЗТПР характеризует политическую реальность даже в большей степени, нежели экономику. Согласно Пирсону, политические институты способствуют скоординированному поведению индивидов, за счет чего снижается стоимость сделок, в то время как преобразование институтов было бы сопряжено с высокими затратами. Кроме того, акторы могут использовать свою власть для еще большего усиления собственных властных позиций. Наконец, вследствие сложности и непрозрачности политики здесь труднее, нежели в экономической сфере, оценить потенциальный успех изменений, что затрудняет процесс институциональных реформ.

Наиболее формализованный вид концепция ЗТПР принимает в работах Джеймса Махони (Северо-Западный университет, г. Эванстон, США) [Mahoney, 2000, 2001; Mahoney, Schensul, 2006]. Все изучаемые им явления развиваются по одному сценарию, а именно: предшествующие условия (исторические факторы, определяющие доступные варианты и процессы выбора) → критический момент (выбор одной из нескольких альтернатив)¹⁷ → структурная стабильность (производство и воспроизводство института или структурного паттерна) → реактивная последовательность (реакции и контрреакции, вызываемые институтом или структурным паттерном) → последствия (разрешение конфликта под влиянием реакций и контрреакций). Так, на материале смены политических режимов в Центральной Америке в XIX–XX вв. [Mahoney, 2001] данная схема приобретает следующий вид: характер либерально-консервативного противостояния, уровень модернизации → выбор либералами радикальной либо реформистской политики → производство и воспроизводство радикального / реформистского / неразвитого (aborted) либерализма → демократические движения → формирование милитаристских авторитарных / демократических / традиционных диктаторских режимов.

Кэтлин Телен (Массачусетский технологический институт, г. Кембридж, США) задалась целью объединить свои исследования в области исторического институционализма с концепцией ЗТПР [Thelen, 1999; 2003]. Исследовательница не согласна с тем, что в данной концепции слишком большое значение отводится случайности и одновременно слишком велик удельный вес детерминизма. Она полагает, что теорию можно сделать проще и эффективнее, если просто изучать «механизмы воспроизводства» (reproduction mechanisms). К таковым будут относиться как процессы, усиливающие позиции того или иного института (носящие эндогенный характер), так и процессы, способствующие его разрушению (обычно экзогенные). Телен стремится решить одну из сложнейших проблем ЗТПР – проблему изменений (как же все-таки, несмотря на ЗТПР, возможны изменения). Она полагает, что изменения происходят постепенно, за счет двух процессов, обозначенных ею как «конверсия» (conversion) и «наслоение» (layering) [Thelen, 2003, p. 226–230]. Первый путь предполагает использование существующего института для решения новых задач и достижения новых целей. В рамках второго пути в ситуации невозможности прямого преобразования на существующий институт «наслаивается» новый.

¹⁷ Концепция «критических моментов» (critical junctures) была разработана, с опорой на работы С.М. Липсета и С. Роккана, Дэвидом Кольером и Рут Беринс Кольер (Калифорнийский университет в Беркли, США) [Collier R.B., Collier D., 1991]. Согласно Кольерам, в разных странах на определенном этапе имели место периоды, в которые происходили существенные перемены и которые оставляли значимое наследие в истории данных стран. Для развития «критического момента» должны сложиться некие предшествующие условия, затем возникает кризис, провоцирующий критический момент, по завершении чего остается наследие (legacy), которое оказывает свое влияние в течение большего или меньшего времени. Эмпирической базой для исследователей стали рабочее движение и смена режимов в Латинской Америке.

В результате траектория «старого» института будет меняться, и этот процесс либо укрепит существующий институт, либо со временем его разрушит¹⁸.

Еще в середине 1990-х годов, когда концепция ЗТПР находилась в процессе становления, ее критиковали экономисты Стивен Марголис (Университет штата Северная Каролина, г. Роли, США) и Стэн Либовиц (Техасский университет в Далласе, США) [см., например: Liebowitz, Margolis, 1998]. ЗТПР авторы описывают как модную идею. Они напоминают, что основывается она на концепциях, почерпнутых из других наук – теории хаоса в математике и физике и идее случайности в биологии (отбор черты и ее наследование). Тем не менее в экономической науке оказалось потеряно характерное для теории хаоса представление о перманентном отсутствии равновесия; на его место пришла идея «живучести» (persistence) не самых оптимальных (так называемых субоптимальных) продуктов, технологий и т.п. В противовес заявлениям Б. Артура и П. Дэвида, Марголис и Либовиц утверждают, что история всегда «имела значение» в экономической науке. Однако ЗТПР они считают сомнительным способом выражения этой мысли. Прежде всего, сложность представляет как отсутствие единого определения ЗТПР, так и разнородность содержательного наполнения данной концепции в работах разных авторов. Марголис и Либовиц выделяют несколько степеней ЗТПР и иллюстрируют их на примере гипотетического потребителя. «ЗТПР первой степени» указывает на базовый уровень стабильности той или иной системы, необходимый для ее поддержания. Например, индивид не меняет место жительства каждый раз, как меняются условия аренды. В ситуации «ЗТПР второй степени» индивид живет в купленном им доме, однако спустя несколько лет в его районе строят очистные сооружения – эту ошибку можно отнести на счет недостатка знания. «ЗТПР третьей степени» авторы описывают посредством примера, согласно которому индивид покупает дом, несмотря на то что ему известно о плане строительства по соседству очистных сооружений; тем самым ошибка не была неизбежной. Третья степень ЗТПР свидетельствует о том, что люди продолжают выбирать тот или иной продукт, использовать те или иные услуги и т.п., зная, что они не оптимальны. С точки зрения Марголиса и Либовица, в таком случае потребителям и предпринимателям отводится исключительно пассивная роль; за скобки выводятся торговые ассоциации и соглашения, реклама, влияние брендов и т.д. Что же касается превосходства раскладки Дворака и формата Betamax по отношению к клавиатуре QWERTY и видеокассетам VHS соответственно, то подобные утверждения представляются исследователям не более чем мифом. Клавиатура Дворака не давала значительного преимущества в наборе текста, а кассеты Betamax обладали серьезным недостатком, сводившим на нет все их потенциальное техническое совершенство: ввиду небольшого объема на них не помещался художественный фильм средней продолжительности, так что запись интересовавшего потребителей содержимого оказывалась невозможной. В экономической области Марголис и Либовиц не находят подтверждения ЗТПР третьей степени; они предполагают, что в некоторых других сферах искусственно можно создать нечто подобное, но не считают, что существует целый класс подобных явлений, требующих отдельной теории.

Продолжили критическую линию статьи других авторов, как экономистов, так и представителей других общественных наук (историков, социологов, политологов), в их числе Эми Бриджес и Герман Шварц. Политолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США)

¹⁸ Ряд сторонников ЗТПР поддержали эти нововведения. Так, Тейлор Боас (Бостонский университет, США) раскрывает содержание данных концепций на примере Интернета [Boas, 2007]. Согласно данному автору, Интернет – это гибкая, постоянно эволюционирующая технология, которая позволяет добавлять новые характеристики поверх существующих протоколов, без замены или преобразования имеющихся секторов. Подобно этому политические акторы, скажем, предпочитают переориентировать существующие партии, нежели основывать новые. В то же время в среде исследователей, не относящих себя к апологетам концепции ЗТПР, идеи Телен вызвали критику – прежде всего из-за того, что они уводят рассматриваемую концепцию слишком далеко от ее принципиальных оснований. В частности, Г. Шварц [Schwartz, 2004], полагает, что ЗТПР не может до бесконечности расширяться, включая в себя все новые объяснительные механизмы; кроме того, с его точки зрения, исторический институционализм нуждается скорее в микрологике.

Эми Бриджес [Bridges, 2000] критикует базовый постулат концепции ЗТПР: в то время как сторонники данных идей из успеха, казалось бы, не самых совершенных с технологической точки зрения продуктов делают вывод о случайности подобных явлений, возможен и другой вывод, а именно тот, что производителей и покупателей заботит не одно лишь технологическое совершенство. Бриджес вообще не считает возможным перенос идей из экономической области в политическую науку (как в свое время Марголису и Либовицу не вполне адекватным представлялся перенос идеи из математики в экономическую науку); по ее мнению, ЗТПР в политологии мало что описывает, тем более объясняет. Исследовательницу удивляет, как легко П. Пирсон и его последователи заявляют о стабильности политических институтов; по ее мнению, факт стабильности нужно не принимать, а стараться объяснить (возможные причины: они обладают властными полномочиями, они создают рабочие места, они исполняют важные социальные функции и пр.). ЗТПР Бриджес называет сильной идеей, однако она не видит в ней теорию общества, истории или политики¹⁹. «История влияет», но не так, как предпочитают считать сторонники ЗТПР – в действительности имеет место историческая хронология и влияние предыдущих событий на последующие, а наибольшей важностью обладают отношения между социальными силами и политическими институтами.

Герман Шварц (Виргинский университет, г. Шарлотсвилль, США) призывает вместо данной концепции вновь обратиться к исследованиям механизмов, обеспечивающих, соответственно, стабильность и изменения [Schwartz, 2004]. С его точки зрения, эта концепция, объединяющая самые разнообразные явления, скорее затемняет, нежели проясняет понимание.

Все аргументы ЗТПР временные и институциональные, в то время как не все временные и институциональные аргументы обязательно имеют отношение к ЗТПР. В соответствии с концепцией ЗТПР траекторию задают так называемые исторические причины [Stinchcombe, 1968]²⁰, а «постоянные» причины далее ее воспроизводят. Однако, полагает Шварц, достаточно воспользоваться бритвой Оккама, чтобы понять, что в новых причинах нет необходимости, а на траекторию продолжают оказывать влияние первоначальные, исторические причины. Большие последствия вызываются крупными событиями, которые отнюдь не носят случайный характер. По Шварцу, масштаб причин и последствий в концепции ЗТПР оказывается несоизмеримым. Событие, признаваемое причиной (скажем, неподкованная лошадь, из-за которой прогибается целое королевство), извлекается из того социально-исторического контекста, в котором оно произошло. Вероятнее, пишет данный автор, случившееся стало следствием крупных структурных феноменов; мелкие события имеют значение лишь тогда, когда их делают значимыми структурные условия. Существенные причины оперируют на системном уровне.

Возрастающая отдача, продолжает Шварц, не является доминирующей чертой социально-политической жизни. Прибыль от вовлечения новых членов в ту или иную организацию (институт, группу и т.п.) не может повышаться до бесконечности. Когда ядро сформировано, стоимость вовлечения новых членов повышается, поскольку привлекать приходится все более далеких и все менее заинтересованных индивидов. Многие компании, давно существующие на рынке, при поддержке государства становятся монополиями, а также осуществляют политику, направленную на сохранение максимального числа работников (оплачиваемый отпуск по болезни, продлеваемые контракты со внештатными сотрудниками и т.п.). Партии, долго находящиеся у власти, в итоге сливаются с государством. Даже с экономической точки зрения ресурсы не могут вечно находиться в изобилии; рано или поздно они будут исчерпаны. (Шварц также придерживается мнения, что реактивные последовательности Дж. Махони, которые опи-

¹⁹ Кстати говоря, для П. Дэвида ЗТПР – это «обозначение определенного класса динамических феноменов, а не теория, объясняющая, как себя ведут подобные системы» [David, 2007, p. 92], однако постепенно методологический статус концепции, определенно, повысился.

²⁰ Stinchcombe A. Constructing social theories. – N.Y.: Harcourt Brace, 1968.

сывают не что иное, как последовательность событий, невозможно объяснить возрастающей отдачей, однако их можно объяснить отдачей снижающейся).

Исторический институционализм сопрягается с ЗТПР, поскольку институты становятся основным фактором, препятствующим изменениям. В чем же тогда, вопрошает Шварц, состоит источник перемен? Кроме того – почему именно институты обеспечивают стабильность системы (если индивиды в своих расчетах ориентируются на все повышающуюся отдачу, данное положение вещей носит в том числе и агентный характер)? В том случае если источник изменений находится в другом институте, то каким образом происходят изменения в том другом институте? Скорее индивиды будут стараться преодолеть снижение отдачи и вновь добиться ее повышения, а значит – будут стремиться к положительным для себя переменам. К тому же еще Бергер и Лукман указали на следующее немаловажное препятствие следованию привычной траектории развития [Berger, Luckmann, 1967]. Власть тем мощнее, чем она неопределеннее, и вследствие этой непрозрачности власти не только нарушается трансляция знания от поколения поколению, но и формируется основа для манипуляции социальными реальностями. А устойчивость институтов, в той мере, в какой она имеет место, проистекает не из все возрастающей отдачи, а из усилий, предпринимаемых властью для собственного сохранения.

В итоге концепция ЗТПР представляется Шварцу либо в корне неверной, либо неоправданно широкой. В частности, он не видит оснований для того, чтобы подменять ЗТПР веберовскую историю развития либо называть диалектику Маркса «реактивными последовательностями». Важно находить и описывать механизмы, лежащие в основе тех или иных процессов, а не подводить под них теорию – в частности, такую, как ЗТПР.

Различные авторы, не отрицая ЗТПР в целом, подвергли сомнению ее применимость к тем или иным явлениям. Например, Джерард Александер (Виргинский университет, г. Шарлотсвилль, США) не считает возможным описание в категориях ЗТПР формальных политических институтов (которые, правда, составляют значительную часть всех политических институтов) [Alexander, 2001]²¹. Александер рассматривает функционирование партийных систем и смену властных режимов в странах Европы, Северной и Южной Америки. Он, в частности, пишет, что, хотя крупные изменения в системах выборов и переход от президентской к парламентской республике достаточно редки, они все же больше распространены, чем предполагает идея блокировки траектории. Менее радикальные изменения происходят чаще, например, в демократиях третьей волны (Польше, России, Аргентине, Бразилии и др.). В ряде стран, скажем, в США, то, что выглядит как поддержание статус-кво, на самом деле таит в себе перемены: приход к власти другой партии сопряжен с изменениями при сохранении номинальных форм. Еще чаще делаются попытки внести изменения, которые по тем или иным причинам не достигают результата. Если бы формальные институты, делает вывод Александер, следовали ЗТПР, изменения происходили бы лишь в результате экзогенных потрясений (как тогда, когда после Второй мировой войны европейские демократии переписали свои конституции). Согласно концепции ЗТПР, изменения связаны с финансовыми и другими потерями, в то время как следование траектории обеспечивает возрастающую отдачу. Однако по мнению Александера, такой взгляд недооценивает стремление индивидов к краткосрочной выгоде, подчас в ущерб долгосрочным перспективам; электоральные изменения также несут в себе свои выгоды. Изучая ряд случаев из европейской истории, исследователь отмечает, что консервативные силы во Франции в 1870–1871 гг., в Англии в 1900–1927 гг. и в Испании в 1931–1936 гг. отнюдь не ощущали себя в безопасности перед наступлением левого лагеря; когда в 1951 г. тори вернулись

²¹ Еще Д. Норт писал, что формальные институты значительно проще преобразовать извне, нежели принятые в обществе нормы и ценности. В итоге и революционные преобразования оказываются в действительности менее революционными, чем гласит их название [North, 1993, p. 38].

в офис, они знали, что малейшее колебание электорального поведения вернет власть лейбористам. За демократической консолидацией в Бельгии, Франции, Испании и Великобритании последовала деволуция. Приведенные примеры в недостаточной мере согласуются с идеями ЗТПР, чтобы их можно было использовать в качестве объяснительной модели для анализа данных политических институтов.

Исследуя идеи ЗТПР в конце 2000-х годов, по итогам их более чем 20-летней истории, Томас Риксен (Бамбергский университет, Германия) и Лора Виола (Свободный университет Берлина, Германия) по-прежнему имеют дело с принципиальной неоднозначностью понятия «зависимость от траектории предшествующего развития» и прослеживают, как различные авторы «растягивали» данную концепцию [Rixen, Viola, 2009]²². Имеет место явление, которое Риксен и Виола обозначают как «гипердиагностика институциональной ЗТПР» [ibid., p. 1]. Когда исследователи выбирают ЗТПР в качестве объяснительной модели, они искусственным образом сужают спектр доступных интерпретаций изменений / стабильности. Теоретики постепенно расширяли эмпирическое пространство, в котором применяется данное понятие, а также вводили все новые теоретические механизмы для объяснения случаев, воспринимаемых ими как случаи ЗТПР. Первым расширением было распространение ЗТПР на институты, за чем последовала адаптация в область политической науки. Дальнейшему расширению способствовали исследования К. Телен, проложившие путь к примирению ЗТПР и изменений, которые всегда представляли собой один из проблемных аспектов данной концепции, однако, по мнению Риксена и Виолы, конверсия и «наслоение» – это уже процессы, противоположные ЗТПР, а не ее подвиды. Эти авторы полагают, что в будущем исследователям следует уделять больше внимания проблеме изменений, в частности каким образом можно соотнести экзогенные и эндогенные изменения, оставаясь при этом в рамках концепции ЗТПР.

Своя доля критики идей ЗТПР последовала со стороны социологии организаций. Поскольку специалисты в этой области занимаются микроуровнем социальных процессов, то можно предположить, что они отдают предпочтение агентности перед структурой. В 2010 г. «Journal of management studies» в специализированном разделе опубликовал две статьи, представляющие разные взгляды на данную тему. Жан-Филипп Вернь (Школа бизнеса им. Ричарда Айви Университета Западного Онтарио, г. Лондон, Канада) и Родольф Дюран (Высшая школа коммерции, Париж-I, Франция) стремятся найти практическое применение для идей ЗТПР [Vergne, Durand, 2010]. Спускаясь с макроуровня институтов и мезоуровня технологий, они анализируют основные положения теории ЗТПР на предмет их применимости на микроуровне организаций. Прежде всего, спорным исследователям представляется представление о случайности события, задающего траекторию развития. Основываясь на эмпирическом опыте, они утверждают, что такие ключевые для последующего развития события, как неуспех фирмы или отставка гендиректора, отнюдь не случайны, а обусловлены рядом, в том числе структурных, причин. Подобно этому, в реальных жизненных ситуациях (в отличие от формальных абстрактных моделей) покупатели выбирают тот или иной продукт не случайно, а в результате комбинации факторов (дизайн, технические характеристики, репутация производителя и т.п.). Кроме того, неприятие авторов вызывает фактическая непроверяемость и недоступность для эмпирического наблюдения феноменов, описываемых в терминах ЗТПР: то, что определенное явление оказалось зафиксировано в виде паттерна, можно констатировать лишь постфактум. В будущем Вернь и Дюран предлагают использовать для проверки ЗТПР такие стратегии, как компьютерное моделирование, экспериментальная методика и контрафактические исследования. Первая стратегия позволит оценить вероятность ЗТПР на основе ряда изначальных условий; это будет исследование того, что может произойти, а не того, что уже произошло. Вторая

²² Против этого в свое время выступал П. Пирсон [Pierson, 2000], однако это стало принципиальной чертой рассуждений о ЗТПР, и, как демонстрирует исследование Риксена и Виолы, он сам этому способствовал.

стратегия представляет собой лабораторный эксперимент с участием малых групп. В рамках третьей стратегии исследователи задают вопросы типа: «Что если...?» и определяют стабильность отношений между различными событиями.

В свою очередь, Рагу Гаруд (Бизнес-колледж им. Фрэнка Смита Пенсильванского университета, г. Филадельфия, США), Арун Кумарасвани (Пенсильванский университет в Уэст-Честере, США) и Петер Карнё (Ольборгский университет, Дания) вместо концепции зависимости от траектории предшествующего развития (path dependence) предлагают идею создания траектории развития (path creation) [Garud, Kumaraswamy, Karnøe, 2010]. С этой точки зрения изначальные условия отнюдь не предопределены, задающие траекторию события видятся не чем иным, как текущими контекстами действия, механизмы, способствующие воспроизводству траектории, – это следствие стратегических манипуляций акторов, а «запирание» паттерна – лишь временная стабилизация развивающейся траектории. В отличие от фаталистских и «геройских» определений агентности, авторы, следуя Б. Чарнявской [Czarniawska, 2008], понимают агентность как результат взаимодействий акторов и артефактов, образующих сети действия. Подобно Верню и Дюрану, Гаруд и коллеги полагают, что невозможно доказать случайный характер того или иного определяющего события. Так, открытие побочного действия гипотензивных препаратов в виде повышения потенции может считаться случайностью, как утверждают некоторые авторы [см., например: De Rond, Thietart, 2007], либо следствием таланта, проницательности и работоспособности сотрудников фирмы «Pfizer». Акторы не обязаны принимать то или иное положение дел как должное, безропотно следуя определенной траектории. Что касается механизмов воспроизводства и «запирания» траектории, то здесь авторы приводят примеры, демонстрирующие, как продукты оставались лидерами на рынке благодаря сговору и другим формам нерыночного поведения производителей. Политики могут вмешаться в ситуацию и «отпереть» траекторию; в практику может быть включена система сдержек и противовесов, с тем чтобы подобной блокировки пути вообще не произошло. Наконец, задаются вопросом авторы, как вообще отличить «экзогенный шок» от случайного события и как определить, что имеет место блокировка траектории – иными словами, что нынешнее положение установилось надолго? По их мнению, ответ будет зависеть от точки зрения исследователя, оттого даже описанные Вернем и Дюраном стратегии не могут считаться надежным средством проверки ЗТПР. Гаруд, Кумарасвани и Карнё предлагают альтернативную концепцию – создание траектории. В тех условиях, в которых они пребывают, акторы будут находить возможности для стратегических изменений. Исследователи же, изучая нарративы, планы, проекты подлинных деятелей, будут в реальном времени анализировать не уже сложившиеся, а только складывающиеся пути развития.

Таким образом, мы можем наблюдать, что в зависимости от точки зрения и исследовательской позиции (в особенности если отдается предпочтение агентности перед структурой) тот или иной автор может разделять либо не разделять идеи ЗТПР. Кроме того, данные идеи были на пике научной моды в 1990-х – начале 2000-х годов; все важные и ставшие классическими работы на данную тему были написаны не позже первой половины 2000-х годов. Далее раскрывались частные случаи, приводились отдельные примеры²³, и при этом разрасталась критическая литература. Большая часть работ 2000-х годов – это критические статьи; в некоторых из них признается определенный потенциал идей ЗТПР, который необходимо развивать,

²³ Скажем, Арт Карден (Университет Вашингтона в Сент-Луисе, США) иллюстрирует ЗТПР таким примером, как Реконструкция Юга после Гражданской войны в США: на фоне стремительно развивавшегося Севера, находившегося в авангарде с экономической, политической, социокультурной точек зрения, Юг по-прежнему пребывал под властью консервативных расистских институтов и соответствующих моральных норм и социальных отношений, что в итоге вылилось в поддерживаемую местными властями практику линчевания и законодательно оформленную сегрегацию, а также длительную экономическую отсталость [Carden, 2009].

авторы других высказывают принципиальное несогласие с рассматриваемыми идеями и отказывают им в каких-либо значимых перспективах.

* * *

В середине 1990-х годов первые переводы исследований, освещающих вопросы ЗТПР, появились в России – прежде всего, это были работы Д. Норта, а затем и других авторов. В отечественной науке данная проблематика заинтересовала в первую очередь экономистов; среди пионеров исследований ЗТПР в России можно назвать В.М. Полтеровича, Р.М. Нуреева, Ю.В. Латова, В.В. Вольчика, С.В. Циреля, Р.И. Капелюшникова. Пик теоретического осмысления данных вопросов пришелся на вторую половину 2000-х годов. Весной 2005 г. под эгидой НИУ ВШЭ была проведена, вкупе с очным симпозиумом, интернет-конференция «20 лет исследования QWERTY-эффектов и зависимости от предшествующего развития», призванная стимулировать изучение ЗТПР в России [20 лет исследования QWERTY-эффектов... 2005]. Среди рассматривавшихся вопросов – зависимость от предшествующего развития в свете экономической теории, социально-экономическая история России и институциональные ловушки²⁴, точки бифуркации и альтернативная история. Еще экономисты привлекли внимание к близости проблематики ЗТПР «вечным вопросам» российской истории. По словам Р.М. Нуреева (НИУ ВШЭ, Москва) и Ю.В. Латова (РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва), «проблема path dependence – это один из “русских вопросов”, над которыми наши интеллектуалы размышляют не один век... Суть проблемы path dependence можно выразить вопросом: почему в конкуренции институтов довольно часто “плохие” институты (нормы, стандарты) побеждают “хорошие”? Эта проблема вбирает в себя анализ и устойчивой российской самобытности, и неудач попыток отказаться от нее в пользу кажущейся более эффективной системы социально-экономических институтов» [Нуреев, Латов, 2007, с. 231].

Постепенно к дискуссии о ЗТПР вслед за экономистами присоединились и другие социальные ученые. В 2008 г. увидела свет социально-философская диссертация Е.В. Сусименко (Южно-Российский государственный политехнический университет им. М.И. Платова, г. Новочеркасск) на соискание ученой степени доктора философских наук «Феномен пат-зависимости в процессе институциональных изменений» [Сусименко, 2008]. По мнению данного автора, «уже в середине 1990-х годов стало ясно, что в России под видом реформ воспроизводятся свойства советского прошлого: связь власти-собственности и появление новых социальных групп на основе ее передела... всевластие бюрократии... зависимость социальной жизни от властных решений... Предположительно, институциональное разложение советской системы подавляется природой советского человека, для которой характерен традиционализм, а не продуктивные и инновационные способности» [Сусименко, 2008, с. 3–4]. Как указывает Сусименко, некоторые отечественные ученые используют концепцию ЗТПР для описания и в целом негативной оценки таких основополагающих структур российского общества, как авторитарная система правления, редистрибутивная экономика, коллективистские традиции; для других это скорее аргумент в пользу централизованной государственной экономики,

²⁴ Согласно В.М. Полтеровичу (ЦЭМИ РАН, Москва), теоретизировавшему данный феномен, у институциональных ловушек, под которыми он имеет в виду явление, близкое блокировке траектории Артура и Дэвида, есть как негативные, так и позитивные аспекты. С одной стороны, «запирание» траектории способствует поддержанию институциональной стабильности, с другой – оно может привести к разрушению института [Полтерович, 1999]. Полтерович приводит пример бартерных расчетов в России в 1990-е годы, которые решали проблемы неэффективных предприятий, но при этом практически парализовали экономику страны, выведенную из этого состояния лишь дефолтом 1998 г. На указанной интернет-конференции Е.В. Балацкий (ЦЭМИ РАН, Москва) сделал доклад на тему: «“Диссертационная ловушка” в экономической науке» [20 лет исследования QWERTY-эффектов... 2005]. Согласно исследователю, написание диссертаций на заказ материально поддерживает ученых в ситуации недофинансирования научной отрасли, но в то же время девальвирует научные степени и всю российскую науку в целом.

так как рынок и конкуренция не гарантируют выбора самого эффективного варианта [Сусименко, 2008, с. 12]. Своего рода промежуточный итог исследованиям ЗТПР подводит работа В.И. Казаковой (Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева) «Концептуализация “path dependence” в современной социальной науке» [Казакова, 2012]. Согласно автору статьи, вопрос о том, «почему “плохие” технологии могут доминировать над “хорошими”», «довольно быстро сменился более широкой постановкой проблемы иррационального развития социальных институтов, а само словосочетание “path dependence” стало четко ассоциироваться с постсоциалистическим развитием и российской модернизацией» [Казакова, 2012, с. 8] – в представлении как отечественных, так и западных исследователей. Сквозь призму ЗТПР Казакова рассматривает такие феномены, как социальное время, граница, рациональный выбор, повседневность. В 2010-е годы публикуются частные эмпирические исследования, в которых, правда, концепция ЗТПР часто используется в значении простого наследования прошлому (против чего в свое время выступали западные теоретики, но чего не всем из них удалось избежать) или даже в значении аналогии с имевшими место в прошлом процессами [см., например: Курочкин, 2016]. В какой-то степени концепция ЗТПР стала уже общим местом; в то же время в обществе нарастает убежденность, что российские институты вообще трудно поддаются преобразованию и после периода модернизации наступает откат к привычному состоянию. Так что, возможно, требуется (новая) концептуализация ЗТПР отечественными политологами и социологами с целью прояснения потенциала этих идей для исследования российского контекста в его социально-политической специфике.

Список литературы

20 лет исследования QWERTY-эффектов и зависимости от предшествующего развития: Интернет-конференция // Экономика. Социология. Менеджмент: Федеральный образовательный портал. – М., 2005. – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/iconf/16213021/> (Дата посещения: 17.05.2017.)

Казакова В.И. Концептуализация «path dependence» в современной социальной науке // Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Серия: Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии. – Нижний Новгород, 2012. – № 3. – С. 6–16.

Курочкин А.В. Траектория предшествующего развития как фактор правовой институционализации современных российских партий // Международный научно-исследовательский журнал. – Екатеринбург, 2016. – № 12, ч. 4. – С. 163–165.

Нуреев Р.М., Латов Ю.В. Что такое зависимость от предшествующего развития и как ее изучают российские экономисты // Истоки: Из опыта изучения экономики как структуры и процесса: Альманах. – М., 2007. – Вып. 6. – С. 228–255.

Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы. – М., 1999. – Т. 35, № 2. – С. 3–20.

Сусименко Е.В. Феномен пат-зависимости в процессе институциональных изменений: Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону, 2008. – 52 с.

Alexander G. Institutions, path dependence and democratic consolidation // Journal of theoretical politics. – L.; Thousand Oaks, CA, 2001. – Vol. 13, N 3. – P. 249–270.

Arthur W.B. Increasing returns and path dependence in the economy. – Ann Arbor: Univ. of Michigan press, 1994. – xx, 201 p.

Berger P., Luckmann Th. Social construction of reality. – N.Y.: Doubleday, 1967. – 467 p.

Boas T.C. Conceptualizing continuity and change // Journal of theoretical politics. – L.; Thousand Oaks, CA, 2007. – Vol. 19, N 1. – P. 33–54.

Bridges A. Path dependence, sequence, history, theory // *Studies in American political development*. – Cambridge, 2000. – Vol. 14, N 1. – P. 109–112.

Carden A. Inputs and institutions as conservative elements // *Review of Austrian economics*. – Boston, 2009. – Vol. 22, N 1. – P. 1–19.

Collier R.B., Collier D. Framework: Critical junctures and historical legacies // *Collier R.B., Collier D.* Shaping the political arena: Critical junctures, the labor movement and regime dynamics in Latin America. – Princeton, NJ: Princeton univ. press, 1991. – P. 27–39.

Czarniawska B. A theory of organizing. – Cheltenham: Elgar, 2008. – 176 p.

David P.A. Clio and the economics of QWERTY // *American economic rev.* – Pittsburgh. – PA, 1985. – Vol. 75, N 2. – P. 332–337.

David P.A. Path dependence, its critics and the quest for «historical economics» // *Evolution and path dependence in economic ideas: Past and present* / Ed. by P. Garrouste, S. Ioannides. – Cheltenham: Elgar, 2001. – Ch. 2. – P. 15–40.

David P.A. Path dependence: A foundational concept for historical social science // *Cliometrica*. – Boston; N.Y., 2007. – Vol. 1, N 2. – P. 91–114.

De Rond M., Thietart R.-A. Choice, chance and inevitability in strategy // *Strategic management journal*. – Hoboken, NJ, 2007. – Vol. 28, N 5. – P. 535–551.

Garud R., Kumaraswamy A., Karnøe P. Path dependence or path creation? // *J. of management studies*. – Hoboken, NJ, 2010. – Vol. 47, N 4. – P. 760–774.

Liebowitz S.J., Margolis S.E. Path dependence // *The new Palgrave dictionary of economics and law* / Ed. by P. Newman. – L.: Macmillan, 1998. – P. 17–23.

Mahoney J. Path dependence in historical sociology // *Theory and society*. – Boston; Dordrecht, 2000. – Vol. 29, N 4. – P. 507–548.

Mahoney J. Path-dependent explanations of regime change: Central America in comparative perspective // *Studies in comparative international development*. – Boston; N.Y., 2001. – Vol. 36, N 1. – P. 111–141.

Mahoney J., Schensul D. Historical context and path dependence // *The Oxford handbook of contextual political analysis* / Ed. by R.E. Goodin, Ch. Tilly. – Oxford: Oxford univ. press, 2006. – Ch. 24. – P. 454–471.

North D.C. Institutional change: A framework of analysis // *Institutional change: Theory and empirical findings* / Ed. by S.-E. Sjöstrand. – N.Y.: Sharpe, 1993. – P. 35–46.

Pierson P. Increasing returns, path dependence and the study of politics // *American political science review*. – Cambridge, 2000. – Vol. 94, N 2. – P. 251–267.

Rixen T., Viola L. Uses and abuses of the concept of path dependence: Notes toward a clearer theory of institutional change // *International summer school on the logic of self-reinforcing processes in organizations, networks and markets*. – B.: Freie Universität Berlin, 2009. – 13–17 July. – P. 1–27.

Schwartz H. Path dependence, increasing returns and historical institutionalism: Unpublished manuscript. – 2004. – Mode of access: <http://people.virginia.edu/~hms2f/Path.pdf> (Accessed: 23.11.2016.)

Stinchcombe A. Constructing social theories. – N.Y.: Harcourt Brace, 1968. – 303 p.

Thelen K. Historical institutionalism in comparative politics // *Annual rev. of political science*. – Palo Alto, CA, 1999. – Vol. 2. – P. 369–404.

Thelen K. How institutions evolve: Insights from comparative historical analysis // *Comparative historical analysis in the social sciences* / Ed. by J. Mahoney, D. Rueschemeyer. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2003. – P. 208–240.

Vergne J.P., Durand R. The missing link between the theory and empirics of path dependence // *Journal of management studies*. – Hoboken, NJ, 2010. – Vol. 47, N 4. – P. 736–759.

Ракурсы: Институциональные традиции и политические трансформации

Обживая руины советской системы: К вопросу о российском неопатримониализме ²⁵

Д.В. Ефременко ²⁶ *

Аннотация. Рассматриваются проблемы социально-политических трансформаций в России в конце 1980-х – начале 2000-х годов. Анализируются исторические развилки, прохождение которых обусловило катастрофу советского государства и становление неопатримониализма в постсоветской России. Режимная трансформация на рубеже 1990–2000 гг. интерпретируется как преодоление критической фазы постсоветского развития и наступление исторически длительного этапа, характеризующегося достижением относительного баланса между иерархией и сетями, формальными и неформальными институтами, агентностью и структурой.

Ключевые слова: распад СССР; неопатримониализм; критические моменты; формальные и неформальные институты; структура; агентность; политическая онтология.

D.V. Efremenko

Rendering the ruins of the Soviet system habitable: Concerning the Russian neopatrimonialism

Abstract. The article considers issues of social and political transformations in our country in the late 1980 s – early 2000 s. It analyzes the historical forks in the road that determined the catastrophe of the Soviet state and the establishment of neopatrimonialism in post-Soviet Russia. Political transformation of 1990–2000 is interpreted as a negotiation of the critical phase of post-Soviet development and the onset of a historically long stage characterized by a relative balance between hierarchy and networks, formal and informal institutions, agency and structure.

Keywords: collapse of the Soviet Union; neopatrimonialism; critical junctures; formal and informal institutions; structure; agency; political ontology.

Феномен устойчивого воспроизводства базовых принципов взаимодействия общества и власти, в котором последней принадлежит доминирующая роль, – поистине сфинксова загадка, разгадать которую не удалось до конца еще ни одному исследователю исторических путей России. По сути дела, это онтологическая проблема как в смысле историософских попыток объяснить бытие конкретных социума и политики, так и в более строгом контексте политической онтологии. Онтологическая перспектива в политической науке открывает средний путь между

²⁵ Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Исследование взаимоотношений власти и общества в России в ракурсе политической онтологии», осуществляемого при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 15-03-00008 а).

²⁶ **Ефременко Дмитрий Валерьевич**, доктор политических наук, заместитель директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, e-mail: efdv2015@mail.ru **Efremenko Dmitry**, Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), e-mail: efdv2015@mail.ru

поиском законов, действующих в политической сфере, и постмодернистским скептицизмом в отношении существования политических закономерностей. По сути, политическая онтология восходит к идеям Карла Маркса, Макса Вебера и Георга Зиммеля, которые рассматривали и действия индивидов, и сложные социальные структуры как проявления регулярности в социальных отношениях. При этом социальные взаимодействия и связи, пронизывающие систему отношений власти и общества, обеспечивающие ее воспроизводство и изменения, формируют ткань социальной и политической жизни. Онтология политики генерализирует имеющиеся данные о социальных взаимодействиях (в том числе о проявлениях регулярности) и дает наиболее обобщенную картину политической жизни.

Разумеется, существует ряд трудностей, связанных с подвижностью и нечеткостью границы между онтологической рефлексией и прикладными политическими исследованиями. Вместе с тем в рамках «чистой эмпирии», предполагающей дистанцирование от онтологической рефлексии, просто невозможно предложить удовлетворительное решение таких проблем, как взаимосвязь между структурой и агентностью, историко-культурные детерминанты политических трансформаций и зависимость от траектории предшествующего развития, влияние идей и дискурсов на политические процессы, выявление органических качеств социальных систем (их несводимость к сумме частей), соотношение материального, виртуального и символического, статус концептуальных абстракций (общество, государство) и т.д. [Каурри, 2010, 22; Stanley, 2012, 98]. Онтологическая рефлексия открывает новые возможности выявления причинной связи между трансформацией политического режима и отстоящими от нее по времени событиями, а также совокупностью социокультурных условий.

В настоящей статье предпринимается попытка рассмотреть проблемы социально-политических трансформаций в нашей стране в конце 1980-х – начале 2000-х годов, фокусируя особое внимание на критических моментах, точках бифуркации, в которых происходит формирование структур и институтов, определяющих последующие политические изменения. Выявление такого рода исторических развилок позволяет рассматривать и альтернативные траектории социально-политического развития, движение по которым в силу тех или иных причин оказалось заблокированным. Особое внимание предполагается уделить тем развилкам, прохождение которых обусловило катастрофу советского государства и последующее становление неопатримониализма в постсоветской России. В то же время анализ политических развилок осуществляется в проблемном поле политической онтологии. В этой оптике режимная трансформация на рубеже 1990–2000-х годов видится как завершение критической фазы постсоветского развития и наступление длительного этапа стабилизации, означающей достижение относительного баланса между иерархией и сетями, формальными и неформальными институтами, агентностью и структурой.

Крах советской системы. Запрограммированный, но не неизбежный

Известное путинское высказывание о том, что распад Советского Союза стал «величайшей геополитической катастрофой XX века», на Западе часто интерпретируется как прямое указание на реваншистские устремления российского лидера и его ревизионизм по отношению к существующему мировому порядку. На деле такие интерпретации лишь дезориентируют тех, кто пытается разобраться в приоритетах российской внутренней и внешней политики. Определение «величайшая», разумеется, было оценочным, адресованным миллионам жителей постсоветских государств, у которых аббревиатура «СССР» вызывает ностальгию. Термин «катастрофа» – дескриптивный. Попытка проанализировать крушение советского государства и коммунистического режима именно в качестве системной катастрофы может дать заслуживающие внимания результаты.

Советский Союз можно рассматривать как сложную систему, включавшую идеологические, символические, организационные, материально-технические компоненты. Как показал Чарльз Перроу, в сложных технических или организационных системах катастрофические сбои, ведущие к разрушению системы, неизбежны и одновременно непредсказуемы [Perrow, 1984]. Дисфункции или сбои на уровне дискретных элементов системы, по отдельности не представляющие для нее серьезной опасности, в какой-то момент вступают друг с другом в резонансное взаимодействие, способное дестабилизировать систему в целом. И в этот момент решающим может стать фактор оператора, который, даже не совершая грубых ошибок (в рамках логики штатного функционирования системы) или успешно справляясь с уже известными техническими проблемами, оказывается неспособным адекватно реагировать на такого рода системные сбои. Иначе говоря, возможность катастрофического саморазрушения изначально атрибутирована любой сложной системе, из чего, однако, не следует, что эта возможность обязательно реализуется за предусмотренный проектом срок ее функционирования. Вместе с тем прогнозировать катастрофический системный сбой на основе традиционных методов оценки риска не представляется возможным.

Если буквально проецировать логику Ч. Перроу на советскую коммунистическую систему, то можно сказать, что возможность саморазрушения была заложена в ней точно так же, как и в любой другой сложной системе. Из этого ни в коем случае не следовало, что крах системы должен был произойти именно на рубеже 1980–1990-х годов. Вне всякого сомнения, в начале 1980-х годов советская система переживала стагнацию, но это состояние в принципе могло продолжаться неопределенно долго. Еще в процессе формирования в эту систему были заложены некоторые внутренние изъяны, которые казались незначительными, но в определенных исторических обстоятельствах они могли запустить процессы, ведущие к разрушению системы. Такие исторические обстоятельства начали складываться к 1985 г., когда СССР возглавил Михаил Горбачев. Начиная с 1985 г. Советский Союз на протяжении короткого отрезка времени преодолел несколько исторических развилок, причем преодолел их таким образом, что наступление разрушительного системного сбоя стало необратимым.

Для периода перестройки ключевой можно считать развилку на рубеже 1986–1987 гг. К этому моменту стало очевидно, что прежняя стратегия преобразований глубоко забуксовала. Первоначальный импульс был практически исчерпан, а массовые ожидания неопределенных положительных изменений вот-вот могли трансформироваться в глубокое разочарование новым лидером и его риторикой. Понимая необходимость коррекции курса, Горбачев и его ближайшее окружение явно недооценили серьезность экономического положения. По сути дела, в начале 1987 г. была упущена последняя возможность перевести реформы на китайский путь. Конечно, различия в социальной структуре, уровнях индустриального развития и урбанизации, квалификации и стоимости рабочей силы не позволяли в СССР детально копировать реформы Дэн Сяопина. Однако их общий принцип – переход к рыночной экономике при сохранении жесткого политического контроля со стороны правящей коммунистической партии – вполне мог быть реализован в конкретных исторических обстоятельствах начала 1987 г.

Как известно, Михаил Горбачев и его соратники сделали выбор в пользу первоочередности политических преобразований. Горбачев фактически возложил ответственность за неудачи первого этапа перестройки на партийно-советскую номенклатуру. Перетряска кадров на всех уровнях номенклатурной иерархии и внедрение альтернативности при избрании кандидатов в партийные и советские органы стали рассматриваться не только как шаги в сторону политических изменений, но и как инструменты решения экономических задач. При этом, стремясь рекрутировать в правящую корпорацию новых людей и повысить ее внутреннюю кадровую мобильность, Горбачев фактически вел дело к дестабилизации опорного каркаса системы в целом. Вследствие принятых решений снизилась сплоченность номенклатуры, она дифференцировалась, оформились внутрипартийные течения.

Дальнейшая радикализация этих процессов стала возможной благодаря политике гласности. Сегодня, возвращаясь к событиям той эпохи, нельзя не признать, что достигнутая благодаря горбачевской гласности свобода интеллектуального поиска и самовыражения стала величайшим завоеванием, которое сохраняется и по сей день. Однако для прежней советской системы именно гласность сделала катастрофическую динамику необратимой. В этом смысле можно согласиться с тезисом Михаила Геллера о том, что эпоха Горбачева была «победой гласности и поражением перестройки» [Геллер, 1997].

Сделав выбор в пользу первоочередности политических преобразований, Горбачев не просто отодвинул на второй план экономическую реформу. Начиная с 1987 г. каждый новый шаг в сторону рыночной экономики оказывался осложнен необходимостью «вписываться» в быстро меняющийся политический контекст, а ожидаемый политический эффект от намечаемых экономических мероприятий поначалу побуждал Горбачева и его окружение выбирать из возможных решений те, которые казались наименее рискованными. В результате экономические мероприятия представляли собой набор паллиативных мер, осуществляемых избирательно и вне четкой последовательности. В таком виде эти меры приводили к дальнейшему усилению экономических и социальных диспропорций, к углублению общего кризиса системы. Замена директивного планирования на индикативное, расширение экономической самостоятельности союзных республик, перевод предприятий на хозрасчет и самофинансирование, выборность их директоров, снятие ограничений на рост заработной платы представляли собой набор действий, подрывающих основы функционирования командно-административной экономики, но не приводящих к запуску новой хозяйственной модели и – тем более – к достижению макроэкономической стабильности.

1987–1988 гг. можно считать решающими для судьбы СССР в том смысле, что в этот период были одновременно активированы несколько мощных механизмов ее разрушения: ликвидация идеологической монополии и цензуры; ослабление внутреннего единства КПСС и появление возможностей прихода в структуры власти людей, позиционирующих себя в качестве оппонентов режима; эрозия плановой экономики; подъем сепаратизма в ряде союзных республик и использование его активистами легальных способов борьбы за национальное самоопределение и независимость. Происходило взаимное усиление этих разрушительных процессов; нагрузки на систему возрастали с каждым месяцем. В то же время количество людей, социальных слоев и элитарных групп, продолжающих связывать свою судьбу со старым режимом, начало быстро сокращаться. И, напротив, множились ряды тех, кто в силу различных мотиваций – нравственных, идеологических, карьерных, националистических или материальных, – был заинтересован в крахе системы. Абсолютное же большинство составляли люди дезориентированные, смутно осознающие угрозу гибели коммунистического государства и связанного с ним привычного образа жизни, но уже не способные встать на их защиту.

В данной статье не затрагиваются другие исторические развилки, предшествовавшие крушению СССР [подробнее см.: Ефременко, 2015]. Однако хотелось бы подчеркнуть, что социальная и политическая динамика эпохи перестройки в целом соответствует логике наступления ситуации, критической для состояния системы. Реконструкция таких критических моментов (*critical junctures*) осуществлена в классическом исследовании Р. и Д. Кольеров, анализировавших соответствующие ситуации в истории восьми латиноамериканских стран, когда на местную политическую арену выдвинулось рабочее движение [Collier R.B., Collier D., 1991]. Согласно Кольерам, для развития «критического момента» должны сложиться определенные условия, затем возникает кризис, после которого остается некое наследие (в том числе институциональное), оказывающее влияние на протяжении достаточно длительного времени. С наступлением критических моментов обычно связано существенное расширение диапазона возможностей для действий индивидуальных или коллективных акторов, тогда как роль структур при этом существенно ослабевает. Так произошло и в эпоху перестройки: ослабление жест-

кой иерархической структуры (партийно-советской вертикали) создало условия для выхода на политическую арену новых акторов. Но этой констатации, разумеется, недостаточно.

Партийно-советская иерархия представляла собой каркас режима, но система в целом к ней не сводилась. Советская система была пронизана множеством неформальных сетевых взаимодействий, обеспечивавших циркуляцию и перераспределение ресурсов. Эти взаимодействия в конечном счете трансформировали сущность системы, адаптировали официальные идеологические установки и репрессивные практики к жизненным реалиям позднего советизма [Ledeneva, 1998; Афанасьев, 2000; Клямкин, Тимофеев, 2000]. Расхождение между официальной, идеологически санкционированной иерархией власти и формированием структур сетевых взаимодействий находило проявление в самых различных сферах – от «двойной морали» до «теневой» экономической активности. В условиях приближающегося обвала партийно-советской иерархии некоторые из этих сетей только усиливались, примером чему может служить бурное развитие кооперативов при одновременной деградации госсектора.

Принятый в 1988 г. Закон «О кооперации» нередко относят к числу наиболее решительных шагов периода перестройки в сторону рыночной экономики. Однако рамочные условия для развития этой формы предпринимательства определялись не только и даже не столько данным законом, сколько ранее принятым решением о прогрессивном налогообложении кооперативов. Статистические данные о росте кооперативного движения в последние годы перестройки, безусловно, впечатляют: на 1 января 1988 г. в СССР действовало 13,9 тыс. кооперативов, а на 1 января 1990 г. – 193 тыс.; объем продукции в годовом исчислении в ценах тех лет вырос с 350 млн до 40,4 млрд руб.; в объеме ВВП доля кооперативов в 1988 г. составляла менее 1%, а в 1989 г. – уже 4,4% [Трудный поворот к рынку, 1990, с. 184]. Но необходимо учитывать, что 80% кооперативов были созданы при государственных предприятиях и фактически служили легальным каналом вывода ресурсов этих предприятий.

Экспансия кооперативов как никакая другая экономическая мера горбачевского руководства способствовала разложению плановой модели экономики. В этом смысле данные о росте объема продукции кооперативов коррелируют с показателями спада производства в госсекторе, разумеется, с поправкой на схемы «оптимизации» налоговой нагрузки за счет сокрытия прибыли кооперативов. Уход от налогов, доступ к дефицитным фондам снабжения, реализация через кооперативы сбыта продукции госпредприятий становились возможными благодаря формированию коррупционного симбиоза между кооператорами, менеджментом госпредприятий, местной партийно-государственной номенклатурой, чиновниками отраслевых министерств, представителями правоохранительных органов и криминальными структурами. По сути, в нерыночной системе появилось множество квазирыночных акторов, которые начали использовать ее прорехи и законодательные лакуны для получения максимальной прибыли. Сети этих акторов процветали на разложении старой, иерархически организованной командно-административной системы, но для становления новой, рыночной системы давали минимум – в лучшем случае стартовый капитал, специфический опыт и связи, необходимые для достижения прибыли в условиях распада советского государственного сектора и получения доступа к его самым лакомым кускам.

Вопрос об институциональном наследии «критического периода», увенчавшего политические и экономические преобразования Михаила Горбачева, представляется чрезвычайно важным и интересным. К числу формальных институтов, которые унаследовала от позднего СССР постсоветская Россия, относятся возрожденная многопартийность и альтернативные выборы. Но ничуть не меньшее значение имели институты неформальные, питательной средой для которых стали сетевые взаимодействия. Дуглас Норт указывает на возможность благоприятного сочетания формальных и неформальных институтов, обеспечивающего оптимальные условия для эволюционных изменений [Норт, 1997, с. 117]. К сожалению, конец перестройки как *critical juncture* далеко не способствовал складыванию такой идеальной конstellации фор-

мальных и неформальных институтов. Непоследовательность и общее запаздывание институционального строительства привели к тому, что после падения коммунистического режима и распада СССР неформальные институты выступили преимущественно в роли механизмов, корректирующих действие институтов формальных.

На обломках советизма

Катастрофа советской системы не завершилась ни в Беловежской Пуще, ни морозным вечером 25 декабря 1991 г., когда с кремлевского флагштока был спущен красный флаг. Гайдаровские реформы также нельзя рассматривать как преобразования, начатые с чистого листа. В них, помимо явных и скрытых намерений реформаторов, необходимо видеть и динамику финальных этапов схлопывания советизма, и даже попытку институционализации субпродуктов системного распада [см.: Kotkin, 2008, p. 113–169]. В то же время интерпретация постсоветской социально-политической динамики в диапазоне «революция – контрреволюция» представляется довольно проблематичной. Например, в трактовке В.Б. Пастухова акцентируется контраст между ельцинской и путинской эпохами:

«То, что мы называем “лихими 90-ми”, было временем революционной ломки всех сложившихся отношений и стереотипов, насильственного перераспределения имущества и власти. В конце концов, из хаоса стал проступать “новый порядок”, который во многом, к несчастью, напоминал порядок старый, поскольку никаких видимых культурных подвижек в обществе за это время не произошло. В 2003–2004 гг. Россию накрыла первая контрреволюционная волна, которая попыталась ввести “революционное наследие” 1990-х в определенные рамки. Она носила преимущественно антиолигархический характер, частью уничтожив, частью поставив под контроль государства элиту, рожденную горбачевско-ельцинской революцией. Возникшее из этой контрреволюции государство осталось, тем не менее, насильственным по своей природе и целям» [Пастухов, 2011, с. 18].

По убеждению автора, для России и большинства постсоветских стран исторический смысл эпохи 1990-х годов по преимуществу заключался не в строительстве новой государственности, рыночно-демократическом транзите, становлении гражданского общества, а в исчерпании динамики распада и «обживании» руин советской системы. Богато насыщенный событиями, первый этап постсоветской истории оказался довольно беден в смысле оригинального внутреннего содержания. Стратегический замысел преобразований 1990-х годов, который сами реформаторы характеризовали как «обмен власти на собственность» и «выкуп России у номенклатуры» [Гайдар, 1995, с. 103], трудно считать чем-то принципиально новым по сравнению с объективной направленностью экономической политики горбачевского руководства периода 1988–1991 гг. На деле состоялся не обмен, а модификация в рыночных условиях дуалистического единства «власти / собственности» и производного от него социального порядка. Даже изменения в составе элиты дают основания говорить, скорее, о континууме или эволюционной трансформации, но никак не о революционной смене правящего слоя.

У либеральных реформаторов, безусловно, было намерение радикально преобразовать само общество, но сделать это они стремились при помощи «невидимой руки рынка». Для этого государству требовалось «уйти» из сферы экономики, а также по возможности сократить свою «сферу ответственности» за социальное обеспечение. В результате российское общество оставалось без традиционной опеки со стороны государства на протяжении большей части 1990-х годов. Задача целенаправленного институционального строительства так и не была переведена в практическую плоскость; предполагалось, что новая институциональная среда сформируется вследствие мер по разгосударствлению экономики. В то же время, несмотря на внешне инновационные формы «ухода» государства из экономики (ваучеризация, чуть позднее – залоговые аукционы), фактически этот процесс осуществлялся с использованием

традиционной машинерии, обеспечивающей перераспределение командных позиций внутри системы «власть-собственность».

Два с небольшим года, разделяющие «Преображенскую революцию» 19–21 августа 1991 г. и принятие Конституции новой России 12 декабря 1993 г., вне всякого сомнения, стали временем решающей трансформации политического порядка и определения вектора его последующего развития. В этот же период российское общество испытало сильный травматический шок, сопровождавшийся утратой жизненных ориентиров для десятков миллионов людей. При этом борьба за власть – между Борисом Ельциным и Михаилом Горбачевым в последние месяцы номинального существования Советского Союза, затем – между Ельциным и Верховным Советом – способствовала тому, что социальная травма оказалась еще более болезненной. В этой борьбе определяющими были решения и действия основных политических акторов, тогда как структурные ограничения были недостаточными, чтобы предотвратить насильственную развязку 3–4 октября 1993 г.

Силовое разрешение политического кризиса осени 1993 г. означало закрытие «окна возможностей» для учреждения нового конституционного порядка на основе политического компромисса. Варианты Конституции, которые могли быть согласованы в ходе диалога между сторонами конфликта, предусматривали большую или меньшую степень равновесия между исполнительной, судебной и законодательной властями. Сам согласительный процесс наподобие польского круглого стола 1989 г. или переговоров испанских политических сил, завершившихся подписанием пакта Монклоа (1977), скорее всего, стал бы преградой для принятия политико-правовой модели, ставящей институт президентства над системой разделения властей. Но шанс на достижение политического компромисса оказался упущен. Конституция Российской Федерации, одобренная на референдуме 12 декабря 1993 г., фактически кодифицировала тот политический порядок, который установился после силового разгона Верховного Совета.

Принятие Конституции должно было способствовать упрочению формальных институтов. Однако институционально-структурной стабильности немедленно достичь не удалось. На деле происходило нечто другое. Как в период острого политического противостояния первых постсоветских лет, так и в последующие годы политические акторы все чаще обнаруживали, что использование неформальных институтов зачастую оказывается более эффективным с точки зрения минимизации транзакционных издержек [Гельман, 2003], достижения краткосрочных и среднесрочных целей. А среда, обеспечивавшая максимальную эффективность неформальных институтов, сформировалась уже к концу перестройки – прежде всего, это были симбиотические сетевые структуры, объединявшие и представителей партийно-комсомольской номенклатуры, и бывших теневиков, и наиболее удачливых кооператоров. Правительство реформаторов, впрочем, оказывало активное воздействие на дальнейшее структурирование этой среды, используя такие инструменты, как льготное кредитование, субсидирование экспорта, дотирование импорта, чековая приватизация, в дальнейшем – залоговые аукционы. В этом смысле реформы можно рассматривать как социальную инженерию. В результате в первой половине 1990-х годов на арену общественной жизни вышла новая социальная группа предпринимателей, почти не имевших опыта организации производства и создания бизнеса в условиях открытой рыночной конкуренции. Их магистральный путь был иным: они сумели добиться успеха не вопреки, а благодаря распаду советской хозяйственной системы, причем их основной способ ведения бизнеса состоял в умении «решать вопросы» на разных уровнях – от локальных криминальных структур до федерального правительства. Но именно благодаря такого рода сетевым взаимодействиям можно было обеспечить воспроизводство в качественно новых условиях связки «власть / собственность», освободив ее от политико-идеологических ограничений советской эпохи.

В 1990-е годы Россия совершила рывок к капитализму, но совершила его так, как могла, воспроизведя в качественно изменившихся условиях привычную для нее связку власти и собственности. Иначе говоря, в России возникла специфическая версия неопатримониального капитализма. Еще Макс Вебер характеризовал отношения власти и собственности в России XVI–XIX вв. как особую вариацию патримониализма – царский патримониализм [Weber, 1976, р. 621–623]. Во второй половине XX в. Ричард Пайпс внес значительный вклад в разработку представлений о патримониализме в России, рассматривая отсутствие либо нечеткость разграничительной линии между собственностью и политическим суверенитетом как фактор, определяющий особенности русской истории в дореволюционный период [Пайпс, 1993]. Шмуэль Эйзенштадт, адаптируя концепцию Вебера к проблематике модернизации, использовал термин *неопатримониализм* [Eisenstadt, 1973]. Неопатримониализм можно рассматривать как комбинацию двух типов политического господства – рационально-бюрократического и патримониального. Функционирование власти в условиях неопатримониализма лишь внешне подчиняется формально-правовым нормам, тогда как реальная практика является неформальной и обусловленной личностными отношениями, или, иначе говоря, строится «по понятиям». При этом неопатримониализму соответствуют авторитарная организация социально-политических отношений и рентоориентированная модель экономического поведения [см.: Erdmann, Engel, 2006]. Украинский исследователь А.А. Фисун определяет постсоветский неопатримониализм «в качестве особой системной формы производства и присвоения политической ренты на основе монополизации властноадминистративных (силовых и фискальных) ресурсов государства различными группами политических предпринимателей и / или бюрократии» [Фисун, 2010, с. 169].

Воспроизводство в России в новом обличье патримониальной модели дает богатый материал для дальнейших дискуссий об исторической колее [см.: Аузан, 2007]. Выглядит все так, будто в начале 1990-х Россия едва не выкарабкалась из глубокой колеи зависимости от прошлого, а к концу того же десятилетия – с радостью в нее вернулась. Объяснить такую траекторию развития только действием культурных кодов и силой традиции довольно сложно. История России XX в. – это история жесточайшей насильственной ломки традиционной культуры. Однако ломка традиции не равнозначна ее уничтожению. Современная Россия – это не страна без традиций, а, скорее, страна с обрывками традиций. Во всяком случае нет оснований утверждать, что такие формальные институты, как альтернативные выборы представителей государственной власти или независимый суд противоречат сохранившимся традиционным ценностям среднестатистического россиянина.

Институциональная констелляция на момент катастрофы советской системы характеризовалась дискретностью и неустойчивостью формальных институтов. Одновременно усилилось значение неформальных институтов, обращение к которым позволяло ограничить неопределенность для индивидов и социальных групп. Именно неформальные институты способствовали дальнейшему воспроизводству ряда культурно обусловленных моделей поведения и реакций. Но воспроизводилось далеко не все, а только то, что способствовало посткатастрофной адаптации, более-менее успешному обживанию обломков рухнувшей системы. Не культурные факторы как таковые, но атомизация общества, резкий рост уровня взаимного недоверия и страха, осознание ненадежности и непредсказуемости повседневной жизни в наибольшей степени препятствовали успешному развитию формальных институтов [см.: Гудков, 2004].

В то же время и основные агенты политических трансформаций все более охотно делали ставку на неформальные институты вплоть до фактической передачи на «аутсорсинг» экономическим группам интересов ряда функций государственного управления. Такой порядок дел компенсировал слабость государства и одновременно создавал дополнительные страховочные механизмы для тех акторов, которые испытывали неуверенность в своем политическом долго-

летию при опоре лишь на формальные институты. Апогеем здесь можно считать президентские выборы 1996 г., период «семибанкирщины» и проведение залоговых аукционов.

Реинкарнация патримониализма происходила как вследствие стремления ключевых политических игроков найти оптимальный в условиях того времени способ достижения своих целей, так и благодаря реализации на уровне массовых социальных групп стратегий ухода от неопределенности и минимизации рисков. На этом пути на протяжении 1990-х годов были пройдены важные развилки. Уже во второй половине 1990-х годов обозначилась перспектива мутации формулы «власть – собственность» и ее замены на формулу «собственность – власть – собственность».

В России середины 1990-х годов власть сформировала новый слой крупных собственников, который, пользуясь слабостью государства, заявил претензии на установление контроля над породившей его властью. Следствием подмены формальных институтов неформальными могла стать приватизация политической власти экономическими группами интересов, после дефолта 1998 г. сосредоточившими под своим контролем около 1/3 российского ВВП [см.: Rutland, 2008]. Однако сама суть политического кризиса, начавшегося 17 августа 1998 г. с объявления технического дефолта и завершившегося с передачей президентской власти от Бориса Ельцина Владимиру Путину 31 декабря 1999 г., состояла в том, чтобы воссоздать более приемлемую для большинства политико-экономических акторов и массовых групп населения неопатримониальную модель, в которой определяющая роль принадлежит государственной власти.

Даже для значительной части влиятельных групп экономических интересов, каждая из которых представляла собой мощную сетевую структуру, потребность в функции арбитража со стороны государства была очевидной. Но еще более важно, что государство как верховный арбитр должно было обеспечить сохранение новой структуры крупной собственности, не обладавшей достаточной легитимностью в глазах основной части российского населения. Для большинства граждан России приватизация стала неотъемлемой частью индивидуального и коллективного травматического опыта, символом вопиющей социальной несправедливости и чудовищной коррупции. Неудивительно, что около 1/3 респондентов даже в начале 2000-х годов высказывались в пользу ренационализации крупных компаний, а за «устойчивым и широко распространенным отрицательным отношением к последствиям приватизации обнаруживалось раздраженное и мстительное ожидание “социального реванша”, парадоксальным образом сочетающееся с практически полным отсутствием надежд на восстановление “социальной справедливости”» [Зоркая, 2005, с. 94].

Последефолтный кризис разворачивался преимущественно как противостояние ключевых политических игроков на федеральном и региональном уровнях на фоне сравнительно низкой протестной активности. Однако недооценка настроений и ожиданий массовых групп, редукция их роли к одному из типов ресурсов, который может быть мобилизован той или иной группой элиты [Гельман, 2007, с. 82], в конечном счете приводит к искажению сути политических трансформаций на рубеже XX–XXI вв. Запрос на «возвращение государства» был массовым, причем во многом он был связан с тем, что дальнейшая экспансия неформальных институтов и отношений из механизма редукции неопределенности могла трансформироваться в источник генерации новых социальных рисков. И, напротив, сверхвостребованной оказалась способность стоящего во главе иерархии власти политического лидера управлять неопределенностью и рисками, даже если это управление осуществляется на основе комбинированного использования формальных и неформальных институтов. В этом смысле стремление к «возврату государства» означало, что в одной точке начинают сходиться массовые ожидания, интересы значительной части политических акторов и опасения мощных групп влияния. По сути дела, это был запрос на системную стабилизацию, на установление в целом понятных и при-

емлемых «правил игры», причем в компромиссном варианте, исключающем как передел собственности, так и «приватизацию» государства отдельными сетевыми структурами.

Социальные факторы укрепления неопатримониализма

Эпоха неолиберальных реформ, если считать ее закончившейся, а хронологическим рубежом завершения – начало президентства Владимира Путина, была ознаменована ярко выраженным социальным расслоением, почти троекратным снижением реальной среднемесячной заработной платы, появлением массового слоя «новых бедных» [Радаев, 2000], т.е. работающих людей, находящихся у черты бедности. «Возврат государства» состоялся в стране, где сформировалась культура бедности и апатии, в стране с атомизированным обществом, где стратегии индивидуального и группового выживания почти полностью вытеснили стратегии гражданской солидарности. Массовый запрос на возвращение к государственному патернализму – не что иное, как обратная сторона недостатка солидарных связей и отношений. К тому же солидарность солидарности – рознь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.